

П. ПАВЛЕНКО

712.

P29939



Русская
повесть



И. ПАВЛЕНКО

РУССКАЯ ПОВЕСТЬ

**МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1942**

Человек без родины —
Соловей без песни.

(Бауков.)

Нам смерть — не родня.

(Партизанская поговорка.)

В сырую октябрьскую ночь к емельковскому леснику постучался путник. Хозяин долго не открывал — не до гостей в такую пору. Но стук был уверенный, собаки лаяли на него без злобы — и лесник босиком подошел к двери, нащупал по пути дробовик в углу, у притолоки, и спросил:

— Кто там?

— Впусти, отец. Это я, Павел, — ответил стучавший.

— Откуда будешь? — осторожно переспросил хозяин, не торопясь открывать.

— С гнезда в перелет по своему следу, — видно, условную фразу произнес стучавший. — Впускай, отец. Промок я до глубины души.

Лесник затарахтел затвором.

— Переспал бы по ночам шататься, нечистая сила. Только людей пугаешь, — проворчал он, впуская сына.

В темную комнату ворвалась прохлада ночи, струя ветра пробежала по полу, всколыхнув занавески, и скрип деревьев спал так явственно, словно скрипели и шатались сени избы.

— Маскировано у тебя, что ли? — спросил вошедший, ощупью подвигаясь к столу. — Ты, отец, зажег бы лампу, дело есть.

— До утра не потерпим?

— Зажигай. Какой ни час — все выгода.

— Побили вас, что ли?

— Вроде того. Ух, и продрог я! Водки нет? Ты, папаша, ничего про нас не слышал? Никто у тебя не был?

— Проходили шестеро бойцов, к фронту пробивались, — ну, вывел я их на тропу, показал, куда идти. А больше никого не было.

— К фронту! Вот бы и нам с тобой за ними, — кряхтя, сказал Павел, сбрасывая сапоги и встряхивая скомканные портянки.

Лесник зажег крохотную керосиновую лампочку и, не отвечая сыну, как бы даже не слыша его, сказал:

— Чай будешь пить? А то кликну Наталью.

— Пускай спит. С глазу на глаз потолкуем.

Павел снял с себя мокрый брезентовый плащ с глубоким капюшоном, сбросил стеганный ватник и оказался невысоким, сухощавым парнем лет двадцати трех, с негустою, кляузною, как говорят в народе, бородкою, отпущенною, видно, поневоле.

Могучий, тяжелый в плечах лесник, на котором все было узко, молча глядел на сына.

— Ну, папаша, разбили нас, — сказал наконец Павел, садясь к столу. — Коростелев Александр Иванович погиб.

— Коростелев? Александр Иванович? — переспросил лесник и нахмурился, будто соображая, может ли это быть.

— Ситников Михаил Ильич погиб. Большаков Николай погиб. Сухов едва живой от немца вырвался.

— Ну, этот и вырвался зря. Тех вот жаль. А ты что, сам был в бою, сам видел?

Павел кивнул головой.

— Все там были. Из сорока — много если пятнадцать осталось. Поодиночке вышли, к утру, пожалуй, соберутся.

— Кто ж начальником теперь?

— А чего начальствовать? Бежать — на то командира не требуется... Да, в общем, Сухов взялся...

— Сухов теперь командир? — с неприятным удивлением спросил лесник. — Вот оно какое дело, скажи... Сухов, значит. Так... А тело-то Александра Ивановича где схоронили?

— Где там хоронить! У немца остался.

— Вы что же, живым его отдали, выходит?

— Говорят, что мертвый был, а сам я не видел, — ответил Павел.

Лесник еще более насупился.

— Уходить надо, — сказал сын. — За линию фронта надо уходить, тут дело битое.

— Это кто же вам сказал — уходить? — передвинув лампу так, чтобы лучше видеть сына, спросил лесник. — Приказ имеете?

— Добьет нас немец теперь. Большакова пытал, Ситникова пытал, Сухов сам это видел, его тоже на пытку было взяли, да убежал, повезло парню.

— Выдали они, думаешь?

— Все может быть.

Лесник ударил ладонью по столу.

— Молчал бы, дурной! Кто это выдаст? Коростелев? О ком говоришь?

— Я говорю: все может быть, — упрямо от-

ветил Павел, не глядя в глаза отцу. — Не он, так другой, а уж если к немцу попали — молчать не даст. Не нынче, так завтра ожидать надо немца. Ты не сердчай, отец, ты слушай. В Старую Руссу немец финнов привез, две тысячи... Природные лесовики. Они нам дадут жару.

— Это что же, решение такое или сам придумал?

— Сухов, как командир, принял такое решение. С пятнадцатую не развоюешься. Я потому вперед и прибежал, чтобы тебе сказать. Собраться ведь надо. Вскроем две твоих глубинки, запасемся хлебцем — да и прощай, прощай, леса родные.

— Меня, значит, тоже приглашаете? — насмешливо спросил лесник.

— А то как же. Тебе оставаться нельзя. Это уж факт.

— Не дело вы задумали, — сказал лесник. — Я этому Сухову, как придет, все уши повывергиваю за такое решение.

— Не имеешь права. Раз командир, так вся дисциплина на его стороне.

— Какой он, к хренам, командир! Кто его, дурака, ставил? Таких командиров — за хвост да в прорубь.

— Не советую, — ответил сын и, приподняв

голову, прислушался. На печке послышался легкий шорох.— Ты, Наталья?

— Я.

— Слезай. И к тебе дело есть.

Пошумев за занавеской, вышла и встала, облокотясь о край печи, высокая, статная, вся в отца, девушка. Ее лицо было не по-девичьи строго, но природа дала этой строгости выражение такой наивной чистоты и взволнованности, что превратила строгость в обаяние. Брат невольно залюбовался ею.

— Что же к столу не идешь? Я не жних, чтобы меня стыдом угощать,— сказал он.

— Да не прибрана я. Говори, какое там у тебя дело,— кутаясь в шаль, небрежно ответила сестра.— Мне и отсюда слышно.

— Разговор, сестра, короткий, как телеграмма. Сухов Аркадий Павлович велел мне с тобой договориться до точки. «Пусть,— говорит,— Наталья бросит заноситься да и выходит за меня — поставлю ее жизнь на высший уровень».

— Это Сухов-то? — презрительно спросил лесник.

— Сухов, да. А в чем дело? Есть у него кой-какие трофеи, деньги есть. За линию фронта выйдет, награду дадут. Возьмет отпуск, Наталью в Москву свезет, будет она там с утра в кино ходить да лимонад пить.—

И Павел засмеялся своим словам, как острой шутке.

— Как, Наталья? — спросил отец. — Хочешь суховского лимонаду? Пашка-то наш, гляди, и то соблазнился — глаза заблестели.

Наталья еще глубже спряталась в шаль и долго не отвечала. Молчали и мужчины, ожидая ее ответа.

— Мне идти некуда, незачем, — сказала затем она. — Я вам и в тот раз, как Сухов приставал, объясняла: была у меня любовь такая, какой и в песнях нет, и ждала я счастья, как трава солнца ждет... но сломалось все, нет у меня теперь никакой жизни, и никуда я отсюда не пойду. Где он искать меня будет? Не найдет, если уйду.

— Это кто же тебя искать будет? — насмешливо перебил ее Павел. — Валюта какая, подумай, — обратился он к отцу все с той же насмешкой в голосе. — Это она все о том плясуне страдает, который весной тут шатался? Так о нем что говорить. Их полк порубил немец в мелкую щепу, — не то что человека, целого седла не осталось.

— Все бывает, — серьезно сказала Наталья. — Бывает, уж и бумага придет, что погиб человек, и товарищи о том напишут, и пособие выдают, а он — стук в дверь и входит... Нет, папаша, я буду ждать Алексея, —

и, резко взмахнув занавеской, она исчезла за нею.

— Дура! Я тебе практический совет даю...— начал было Павел, но отец остановил его:

— Хватит. Ложись спать, — и погасил лампу.

Павел лег на лавку у стола и с головой накрылся старым отцовским тулупом.

— Откроешь, в случае чего, на три совы. Пароль — «Тамбов», — сказал он.

Отец, не отвечая, побрел к своей постели.

Новости, рассказанные сыном, взволновали и расстроили его до крайности. Партизанский отряд Александра Ивановича Коростелева, секретаря райкома, был одним из лучших в районе между Ильмень-озером и Валдаем.

Здесь, в густых лесах, пронизанных озерами и болотами, в древнем Приозерном краю, ютившем еще новгородскую вольницу, раздолье было для партизан. Коростелев, сам исконный ильменец, рыбак с детства, знал леса, как хороший волк, разбирался в озерной путанице, как дикая утка. Это был лесной рыбак, редкая разновидность русского человека. Ему партизанить сам бог велел. Еще немцы были у Витебска, а он закопал в лесах продовольствие на добрых полгода, вооружения на две сотни людей, угнал в лес

колхозное стадо в сорок коров да с десятков коней. Еще шли дожди, а его партизаны везли в лес лыжи и санки, в артелях шили им белые маскировочные халаты. И все это хоронил он в десяти местах, никому не рассказывая, где и что. Только Ситников, Большаков да отчасти Емельковский лесник одни и знали его таинственное хозяйство.

После того как немцы взяли Старую Руссу, Коростелев остался в городе, поручив партизан Ситникову.

В городе наладил Александр Иванович своих подпольщиков и взрывал там немцев добрых две недели, выжигал из домов, вырезал на темных улицах, душил в постелях.

Уходя в лес, оставил в городе верных людей с походной радиостанцией.

Из города сообщают в лес Коростелеву: на таком-то тракте колонна, там — пушки, в ином месте — танки. И он выберет самое важное место, самый обнаженный пункт и ударит, где не ожидали. За голову его определили немцы сначала пять тысяч марок, потом десять тысяч, а в последнее время двадцать пять тысяч советскими, три коровы и пять мешков пшеницы.

Но взять Коростелева они не могли ни силой, ни хитростью. И вот теперь он погиб.

Рассказ сына о неудачном бое и еще более, чем самый рассказ, его непонятная привязанность к Сухову, вместе с явным желанием уйти за линию фронта,— все это не нравилось леснику, и он чувствовал, что за всем этим кроется недоброе. Запав дыхание, он прислушивался, спит ли Павел.

«Спит, подлец,— думал он со злостью.— Набили столько народу, а ему и горяшка нет, храпит, дьявол».

И тоска, как ломота, охватывала его кости и ныла в них, хоть кричи.

— Россия наша, Россия,— бессвязно повторял он, переживая огромную боль за родину, за ее беды, за все то страшное, что навлек на нее немец.

Он, как и любой простой человек, плохо знал родную историю, он не мог бы толком назвать ни одного царя или исторического деятеля и что именно и когда они совершили; он путал последовательность многих событий и мог приписать Кутузову то, что совершил Петр, но за всем тем он любил и понимал русское прошлое. Знал он, что Россия велика, сильна и богата, помнил ее великую славу, верил в ее людей, знал, что и во тьме веков, в ранних истоках державы, всегда выручали ее из беды великие подвижники и герои. В годы бедствий Россия всегда рожда-

ла героев. С детства помнил он удивительное житие князя Александра Ярославича Невского, своего «однофамильца». С детства запечатлелись в его памяти фигуры дремлющего Кутузова на совете в Филях, худенького Суворова с задорным седым хохолком, Скобелева с мясистыми щеками и тщательно распушенной бородой. Солдата Архипа Осипова, взрывающего пороховой погреб, или солдата Рябова в плену у японцев.

Для него и Суворов и матрос Кошка были родными. Они и строили ту Россию, которую он любил, которую и сам он, Петр Семенович, строил, не покладая рук.

Теперь все великое русское проходило перед его неспящими глазами.

То проносилось какое-то острое слово царя Петра, то что-то связанное с Суворовым сжимало сердце. А то вдруг — ни с того, ни с сего — вспоминался ему запах черники, такой тонкий и нежный, что его слышно лишь изредка и лучше всего, когда ешь чернику о млоком, — и этот запах был до того нежный, как запах родного ребенка.

То пробегал перед глазами вид Новгорода, то скрип уключин и плеск воды под веслами возникал в ушах — и господи, боже мой! — сколько образов родной и милой сердцу русской жизни вставало сразу.

Вспомнил он, как лет пять тому назад в этих местах открывали санаторий для туберкулезных ребят и как он пошел туда поглядеть, что это такое за санаторий, и целый день просидел у решетчатой ограды санатория, следя за играющими детьми, любясь их игрушками и слушая песни женщин в белоснежных халатах, и как было трудно тогда ему встать и уйти от этой новой, приятной и уютной жизни, которая вдруг возникла в глухих лесах.

Вспомнил он, как создавался совхоз за соседним лесным участком, вспомнил молодежь, уходившую из деревень в города и возвращавшуюся с медалями, со знаниями.

Вспомнил невысокую, кряжистую девушку, как-то приехавшую к нему на участок «лечить лес». Была она проста и неопытна, как ребенок, не умела отличить клюквы от брусники, но болезни деревьев знала и умела лечить их. Вечерами долго рассказывала о солнце, о жучках и червях. Он сладко, точно сам был ребенком, задремывал под ее рассказы, с веселою нежностью бормоча: «Лечи, лечи, дочка», и была она ему приятна, как вся та новая жизнь, что властвовала над ним. Да, много было хорошего, радостного.

И вот ее, эту жизнь, топчет сапогом немец, и казалось — при немце ничего не будет из

прежнего: ни солнца, ни рыбы в озерах, ни запаха земляники, ничего...

— Ах, беда ты моя, беда, Россия наша,— шептал он, ворочаясь с боку на бок, и, не в силах справиться с ворохом мыслей, от которых бил его мелкий озноб, встал и, как был, неодетый вышел во двор.

Ночь подходила к концу.

Лес бормотал и выл под сильным ветром. На поляну выметало последние запахи осени. Дыхание размокших под дождем ометов, дров, дорог, навоза, пролитого кем-то дегтя, вздувшихся хмурых, студеных озер, укропа на раскисших грядках было широким, сытным.

— Нет, не может того быть,— сказал он вслух.— Россия свою тягу имеет, как пламень. Ее мало взять, ее тушить надо. А огонь-то — ого, до Тихого океану! Не загасишь, нет!

И как-то сразу при такой мысли отлегло от сердца.

Прислушался. Издалека доносился крик совы.

«Баловники. Сигнал ответственный, вроде пароля, а они его по всему лесу на десять верст трубят»,— и, набирая злость на этого Сухова, стал поджидать партизан на пороге сторожки.

На мечи было жарко. Наталья не покрывалась одеялом, а лежала в легком ситцевом платьице, как в жаркий день у реки, когда, бывало, выходили гурьбой из деревни и как бы невзначай поджидали военных из лагерей, давая знать о себе песнями.

Там, у реки, Наталья и встретила его прошлым летом. Он шел,— она прижала руки к сердцу, так было явственно сейчас это виденье,— он шел, легко неся тело на длинных упругих ногах, и как бы сдерживал их, чтобы они не унесли его дальше.

Среднего роста, шупленький, он не сразу бросался в глаза, но стоило заговорить ему— сейчас же запоминался и нравился своей речью. Он был русский, родом с Кавказа, и говорил с сильным акцентом, что очень шло к нему. И смеяться любил он долго, весь загораясь от смеха и как бы нехотя замолкая. Он не был красив, но Наталья залюбовалась им, а он тоже, видно, отметил ее из всех и рванулся к ней, но сдержал себя и, рассмеявшись, небрежно-красивой походкой прошел мимо девушек. Как хорош был тогда день— такой настоящий русский, с крутыми белыми облаками на голубом небе, с гулом далекого грома за лесом, с душистым полевым ветром. Из лесу доносились визгливые крики ребят,— сегодня с утра все ушли за ягодами,— лес

ухал от ребячьих криков, как пустой котел.

Слабый запах тлени, словно дымок, пронизывал горячий летний воздух. И все было хорошо, как никогда. Как они тогда познакомились? Как они тогда сразу поняли, что им назначено любить друг друга и нельзя терять ни часа, ни секунды из счастья, раскрывшегося с такою щедрой простотой?

Теперь Наталья не могла даже вспомнить, как все это произошло. Одно она могла сказать — день тот был самым лучшим в ее жизни. Ни до, ни после него она уже не испытала того высшего наслаждения жизнью, как тогда, у реки, когда увидела его и сама предстала перед ним — вся, на всю жизнь.

День тот длился долго. На исходе его, утомленная, Наталья купалась в реке. Вода была розовой от бокового солнечного света, и кожа на ее теле тоже казалась красной, разгоряченной, как в бане.

«Вот и пришло мое счастье, — думала тогда Наталья, — какое ни есть, а мое навеки, и для него, и с ним только и жить теперь. Только бы не разминулись дорожки, не разошлись пути...»

Шатаясь, вышла она из воды и, заломив над головою руки, долго глядела на первые, растерянно мигающие, подслеповатые звезды.

И Анюта Большакова громко и раздраженно сказала тогда при всех:

— Не могу я на тебя смотреть, — какая ты счастливая.

Как все удивительно в человеческой жизни! Еще и счастья нет, оно лишь слегка почувствовалось, а сразу изменился вид Натальи.

— Ах, да что там...

Ей хотелось и продолжать воспоминания и отстранить их, потому что были они без окончания, без торжества, без Алексея.

— Найти бы Алексея, найти, — шептала она.

И ей в самом деле казалось, что если она найдет его, то прежнее ощущение счастья сразу вернется к ней.

И в глубоком сне она застонала и, морщась, нехотя проснулась. За окном трижды прокричала сова. Послышались голоса, фырканы уставших коней, ругань.

«Ох, опять этот Сухов», — мелькнуло в мозгу, и, словно убегая от него, пока он не заметил, Наталья торопливо заснула.

Бой, о котором наспех рассказал отцу Павел, произошел третьего дня на развилке двух проселочных дорог, возле деревни Безымянки. Немцы заночевали в деревне, выставив охранение. К вечеру Коростелев окружил де-

ревню и послал Большакова с Суховым и Павлом скрытно подползти к избам и поджечь из них две или три — для паники.

Часа через полтора избы запылали.

Крича и стреляя в воздух, немцы выскочили на улицу, и тут Большаков сразу был ранен в руку, а немного погодя еще и в ногу. Сухов и Павел поволокли его к скирде сена и укрылись там вместе с ним. Бой шел на улице. Пули шуршали наверху, в сене. Оно наконец вспыхнуло. Тогда поволокли Большакова к какому-то огороду, в кривую, покосившуюся баньку. Из нее кто-то вышел, поглядел на них и окликнул:

— Пашка, ты?

Сухов уронил Большакова, припал к земле.

— Я. А это кто?

— Это Бочаров Дмитрий. Здравствуй! — И к ним, с немецким автоматом в руках, низко нагибаясь к земле, подошел человек в русской одежде. — Давно я хотел, Сухов, с тобой повидаться...

Сухов что-то прокашлял.

— И Коростелев тут? — спросил Бочаров.

— Тут, — ответил Сухов. — А ты что, у немец?

— Вроде. А ну-ка, ты полежи, парень, — сказал Бочаров Павлу, — мы с Суховым отсюда поговорим.

— Ты не убивай меня, Бочаров,— сказал тогда Сухов.— Я тебя умоляю, не убивай меня.

— Да что ты! — сказал Бочаров.— Я, помнишь, сам к вам в отряд просился, да Александр Иванович не взял за мою анкету. Кулак, говорит, то да се. Помнишь?

— Помню,— сказал, вставая, Сухов, и они отошли в сторону, а Павел пополз в калусту, оставив Большакова.

Минут через десять он услышал голос Сухова. Тот звал его. Павел побоялся откликнуться.

— Брось искать. Удрал он, ну и все тут,— сказал Бочаров.— Еще лучше. Ничего не узнает. Так договорились? Или нет?

— Это дело серьезное, Бочаров,— ответил Сухов.— Как я могу обещать? Выйдет — выйдет, а не выйдет — не обижайся.

— Должно выйти. Надо во всем свой интерес иметь. Я тебе так скажу: ни тебе в партизанах, ни мне у немцев делать нечего.

— Это-то так. Ну, поглядим... Бежать надо. А то еще твои немцы прикончат,— сказал Сухов.

— А это кто ранен? — спросил Бочаров.— Не Большаков ли?

— Я,— медленным, страшным голосом ответил Большаков.— Сволочи вы... Слышал я,

о чем сговаривались, — и он выстрелил из «вальтера» раз пять или шесть.

Бочаров кинулся наземь, застрочил из автомата. Кто-то — наверно, Сухов — пробежал мимо Павла.

Тогда и он на четвереньках, ползком, а потом в полный рост кинулся к балочке, перемахнул ее и, обойдя деревню задом, вышел к своим.

Сухов был уже тут. Он докладывал Коростелеву, когда подошел Павел, и здорово испугался, увидев его.

— Жив, Павел?.. Золото мое... Ну, рад я, так рад... хоть ты жив.

Коростелев сидел на завалинке у крайней избы и молча смотрел на них. Потом сказал:

— Где бросили Большакова?

— Александр Иванович, да как не бросить, когда под автомат попали...

— Где бросили, я спрашиваю?..

— Да черт его найдет — то место. Темнота ведь. На огороде каком-то. Ты не запомнил, Павел?

Коростелев посмотрел в сторону улицы — бой достиг ее середины, немцы, бросая повозки, пешком уходили за дорогу.

— Скажи Ситникову: я за Большаковым пошел, — сказал Коростелев своему связному

Грише Курочкину. И, встав, оправил на себе патронташ.— Веди, Сухов.

Двое партизан—они всегда находились при Коростелеве—молча вскинули на плечи автоматы и тоже пошли. Павел остался. Гриша сказал:

— Судить теперь вас, сволочей, будем. Как это вы Большакова бросили? И Александра Ивановича от дела отбили. Ну, и сукины же вы дети.

— Мы не бросили. Отбить не могли.

— Конечно, голыми руками не отобьешь,— сказал Гриша.

Павел схватился за грудь: винтовка-то осталась в капюсте.

— Ты помолчи, не твое дело,— сказал он Грише.— Иди, куда тебе сказано.

— Я лучше тут подожду Александра Ивановича,— сказал Гриша.— Фланг открытый, а тебе поручить нельзя. Сходи к Ситникову, передай, что слышал.

Павел сразу обрадовался—спасение! Побежал к Ситникову и, передав, что было сказано, добавил:

— Фланг открытый, беспокоюсь я за Александра Ивановича.

Ситников покачал головой:

— Это какие же такие хрены Большакова там раненого оставили? Придется Александра

Ивановича теперь выручать, беды бы какой не вышло.

И все пошло бесом. Пришлось отойти с улицы и повернуть на огороды.

Немцы, совсем было оставившие деревню, вернулись в нее и, хоронясь за избами, открыли по огородам такой огонь, что кругом посветлело, и партизаны лежали в зареве сплошных ракет, пожаров и красно светящих пуль. Павел сохранил в памяти лишь отдельные звенья этого ужаса. Он помнил, что душа его металась от испуга к отваге, то он оголтело куда-то бегал с поручениями Ситникова, то подносил патроны, то отпаскивал и перевязывал раненых, то, притулясь к какому-нибудь плетню, вздракивал и выл, как пес.

Ночь была на исходе, когда увидели—немцы что-то зажгли в деревне. Украинец Сквородченко, из красноармейцев, пополз узнать, в чем дело.

— Большакова на огонь кладут! — крикнул, вернувшись.— Сначала били, в ранах штыком ковыряли, все требовали нашу базу открыть — молчит. А сейчас к сараю привязали, сеном обложили — жечь хотят.

— Не дам Большакова жечь,— сказал Коростелев.— Нет, не дам я им этого.

Прямо на огонь сарая взял направление Коростелев. Ни о чем не заботясь, бежали за

ним партизаны. Наскакивая на немцев, били их наотмашь прикладами, кололи штыками, хватали за ноги и валяли наземь. Пулеметы замолкли. Пошла рукопашная, и все смешалось. Свой своего окликал по имени.

— Ситников?

— Я.

— Коробейник?

— Здесь.

— Ты, Сема?

— Я, Николаша.

Человек двадцать немцев валялось вокруг сарая на освещенной пожаром земле. Уже было рукой подать до Большакова, но тут сразу пропали немцы, и по нашим рванули из миномета. Коростелев взмахнул рукой и упал.

И это было последнее, что хорошо помнил Павел... А потом стоял он у полусожженного тела Большакова и плакал, и дрожал.

Подбежал Сухов:

— Бежим, Панька. Александра Ивановича убили. Видел?

— Куда?

— Как — куда? Вообще убили.

— Куда бежать?

— В лес, поодиночке. У твоего отца — послезавтра.

И они побежали, шарахаясь от выстрелов, и никак не могли разделиться. Ночью остатки

отряда еще раз встретились где-то на пути к леснику, и тут был ими избран временным командиром Аркадий Сухов.

Сова прокричала три раза.

На поляну из лесу выехала группа конных.

— Ишь, спят-то как, и часового нет,— фальшиво заботливым голосом сказал Сухов. — А ведь Паньку загодя посылал...

— А чего тебе, Сухов, музыку, что ли, выставить? — сказал лесник.

Конные быстро подъехали к нему.

— А-а, Петр Семенович! Привет! — Сухов спрыгнул с коня и, покачиваясь на занемевших ногах, стал привязывать лошадь к плетню. — Ну, как, собрался?

— Куда это?

— Панька тебе ничего не пересказывал?

— Да какую-то глупость говорил. Бежать будто вы, ребята, собрались. Да я не поверил.

— Бежать? Вот сукин сын! — засмеялся Сухов. — Это называется перебазироваться. Про нашу беду слышал? Беда, чистая беда. Слез до сей поры не удержу, как об Александре Ивановиче вспомню. Без него — сироты. Конец всем.

— А Ситников? — спросил лесник, словно не знал ничего.

— Погиб и Ситников. Что же это Панька, ей-богу... Я ж ему велел тебя в курс ввести...

— Осталось много?

— Человек десять. Ну, потом, за чаем, Петр Семенович, поговорим.

— Вы что, ребята, чумные какие? — спокойно всматриваясь в лица партизан, спросил лесник. — Откуда кони? Кто дал?

— Коней в одном селе взяли — до утра. Пойдем в тепло, там поговорим.

— Стой, пока я стою, — сказал лесник. — За что тебя чаем поить? Ты кто, партизан или нет?

— Да, я тебе забыл сказать, вчера ребята меня командиром проголосовали. — Сухов положил руку на плечо лесника, но тот стряхнул ее. — Так что давай не будем. Решение принято, отбою нет.

— Здорово воюете. За такую войну к стенке бы вас поставить, да еще, может, и поставят, погоди.

— Мы, Петр Семенович, не виноваты, — сказал один из партизан. — Насчет отходу — это мы от беды решили. Без командира — гибель. А где его взять?

— Молчи. За командиром всем отрядом итти хотите? Совести нет у людей. Рапорт надо составить да кого-нибудь одного и послать, пришлют командира...

— Да ты слушай меня, Петр Семенович,— несколько раз начинал было Сухов, но лесник не обращал на него никакого внимания.— Слушай, Петр Семеныч... Десять нас человек, что за отряд?

— Молчи. И одна голова — отряд, если мозги целы. Откуда десять? На седьмой дистанции у вас четверо легко раненых, в Волчеве, у колхозников, слышал я, двенадцать бойцов хоронятся, отстали, отбились от части, к нам просятся. В Чижове есть люди, в Затоновке, в Ямках. Кликнем клич — отовсюду сойдутся. Надо объехать деревни,— там же знали, что у нас нет набора,— и сказать, что теперь принимаем.

— После того, как Александр Иванович погиб, не сильно пойдут-то,— сказал Сухов.

— Врешь, пойдут. За него пойдут.

— Хотя верно,— только чтобы отделаться от упрямого лесника, сказал Сухов.— Мстить пойдут, конечно.

— Что за месть, когда нечего есть,— мрачно состриг партизан, лицо которого трудно было узнать в темноте.

Раздался смехок.

— И то верно,— подхватил лесник, словно не понял насмешки.— По деревням теперь стон стоит, пухнут с голоду. У кого еще хлеб есть — так это у нас. Приходи любой, ста-

новись с нами — накормим... А ты, крест тебя накрест, я хоть и не узнаю тебя, а сейчас надеру уши, — нашел время шутки бросать над святым делом. Где у вас родина, обормоты? — Петр Семенович передохнул, вытер ладонью пот с лица.

Сухов воспользовался паузой.

— Что же, предложение ничего — пошлем за фронт не всех, одного. Я, к примеру, за три дня обернулся бы. Как вы, ребята, смотрите на это?

— Что ж, валяй, узнать надо... Всем не всем, а итти безусловно... — раздались голоса.

— Отинформируюсь и — назад, с полной картиной событий. А то ведь, Петр Семеныч, какая неувязка. Немец слух пустил — Москва, мол, взята, большевики, слышь, к Волге отступили, армии все разбиты.

— А ты и веришь?

— Верить не верю, но, как говорится, уточнить надо. Может, какая правда и есть, кто его знает. А то выйдет, что одни будем бодаться... Так вы как, не возражаете против общего мнения?

— Поезжай, — сказал лесник. — Поезжай и в четыре дня все выясни, да привези с собой командира.

— Лады! — развязно сказал Сухов, говоривший на том нелепом русском языке, кото-

рый присущ у нас некоторым городским полунинтеллигентам, почему-то думающим, что они пользуются самым современным советским языком.

— А вы, ребята, с полдня отдохните и поезжайте по деревням за людьми,— сказал партизанам Невский.— Всех к нам зовите, в ком душа живая, богатая. Мужиков, баб, ребят, бойцов заблудших.. Может, пленный какой бежал от немцев, хоронится у солдаток— и его берите. А главное — у кого обида, тех надо нам. Перед кем родную кровь пролили, тот будет воевать не как вы. У того рука с клешней, кулак с тирькой.

Партизаны рассмеялись.

— Теперь покормишь?—спросил Федорченков, низенький, на кривых ногах, псковский сапожник.— Полностью нас покормил, старый. А как накормишь — я с тобой разговор хочу иметь с глазу на глаз.

— Ступайте в дом, грейтесь,— сказал лесник.

Сухов тоже пошел вслед за всеми, но хозяин остановил его.

— А тебе курс даден, валяй.

— Да я Паньку хочу взбудить. Какого же чорта, ей-богу...

Лесник, повернув Сухова за плечо, сказал:

— Не теряй времечка, валяй. Коня-то сду-

ру чужого не забори. Валяй, валяй. К вечеру там будешь.— И, войдя в сени, заложил дверь изнутри на щеколду, потом поглядел в «глазок».

Сухов вынул из холщового мешка, что вясел на седле, три яйца, ломоть хлеба, сунул все за пазуху и, промко высморкавшись, двинулся в лес.

Лесник вошел в комнату.

— Чаю поьем да и перебазируемся,— сказал он.— По вашему следу как бы гостей не было.

В тот самый день, когда происходила ссора в лесной сторожке, в городке Х., на квартире у заведующего районным отделом народного образования Никиты Васильевича Коротеева собрались подпольщики, делегаты квартальных бригад. Председательствовал секретарь горкома Медников. Заседание было посвящено итогам действий отряда за последние две недели. Слово имел Коротеев:

— За последние четырнадцать дней городское партизанское движение, товарищи, пережило многое. Численно оно сократилось — террор, страх, голод, доносы — но качественно возросло и окрепло и, что важнее всего, накопило новый опыт.

Вспомним, как действовали мы в сентябре.

Взорвали склад с боеприпасами, раз пятнадцать портили связь, подожгли комендатуру, порознь уничтожили десять немцев. Всё. Какие потери мы понесли? Сто человек расстреляно из числа жителей, да наших попало добрых двадцать пять душ.

Потом немцы усилили бдительность, удесятирили террор, активность населения пала, мы стали перед опасностью полного отрыва от города, от народа.

В чем ошибки сентябрьской тактики?

Ошибки сентябрьской тактики следующие:

а) Мы действовали изолированно от масс — первое.

б) Мы брали курс исключительно на большие, шумные дела, пренебрегая малыми, — это вторая ошибка.

в) Мы действовали по шаблону, воевали, как вообще партизаны, большими группами, забывая, что городские бои — одиночны, что поля городских сражений — это не только площади и улицы, но, главным образом, отдельные дома.

Учтя это, мы быстро перестроились — и что же, чем можем похвалиться за первые две недели октября?

Семнадцать домовыми пожарами от неизвестных причин. Сорока разобранными печами в домах, предназначенных для постоя нем-

цев. Больше чем тремя сотнями разбитых окон в домах, уже занятых немцами. Заражены ящуром все коровы и телята на скотном дворе комендатуры. По пятому и шестому разу свалены телеграфные столбы к железнодорожной станции. Одно крушение поезда. Три столкновения грузовиков на тракте. И как общий результат всех этих мероприятий—снижение немецкого хамства, боязнь выходить по ночам в одиночку, тяга их солдат из нашего городка.

Есть у нас одна такая активистка из третьей бригады, номер ее девятнадцатый. Натопила она немцам, что у нее на постое, баню да и закрыла вьюшку до времени — один помер, пятерых увезли в околоток. Другая, из одиннадцатой бригады, работала по принуждению в их гарнизонной прачешной и сожгла двести комплектов белья, да так хитро — комар носу не подточил. Появилась недавно и такая старушка: две недели поила немцев недокипяченой водой, пока не свалились они с расстройством желудков...

Делегаты негромко засмеялись.

— Оно верно, что смешно. Но ведь, как ни говорите, и то дело.

Есть еще один парень у нас. Взяли они его воду возить для автопарка. Возит парень воду с утра до утра, трудится всем на удивле-

ние, а у них машина за машиной из строя. Понять не могут. А он что сделал?

Они на ночь из радиаторов начнут воду спускать, а он между делом позакрывает крантики. Утром, глядишь, у десяти — пятнадцати машин прихватило радиаторы, вышли машины из строя.

В чем, значит, успех? Вовлекли в свое дело маленьких, рядовых людей — вот и успех.

Борьба с оккупантами в городе — дело новое. Ей приходится учиться на ходу. Нужно в самом процессе борьбы находить и новое оружие, и новые методы.

Мы вот все говорим о себе: мы — партизаны. Это неверно, по-моему. Какая у нас, к черту, малая война? У нас новая, еще небывалая война, в которой действия гигантских армий взаимосвязаны с выступлениями народа. Мы — сито, сквозь которое вперед и назад пройдет немец. Пока наши армии вынуждены отходить, мы дезорганизуем немецкий тыл и взвинчиваем немецкие нервы, но вот начнут наши теснить немцев — и тогда уже не о дезорганизации придется говорить. Тогда мы должны хватать и бить, жечь, душить, препятствовать их отходу и спасению.

Мы — сито, сквозь которое пройдет немец. Чем мельче сито, тем лучше. Из этого вытекает и тактика: пятьдесят мелких дел наших

важнее одного нашего крупного. Не сражениями возьмем мы, а бытовой войной, чтобы самый воздух был нетерпим для немца, чтобы он боялся есть и пить, боялся ночи и дня, боялся луны и солнца, громкого крика и шопота.

За последнюю неделю мы очень многого добились словом. Вы видели, на стенах домов появились надписи углем по-немецки? Мы написали:

«Имена всех мародеров и убийц нам известны. Куда бы ни скрылись они — мы доставим их».

И перечень: «Капитан Вегенер — убийца. Лейтенант Штарк — убийца и вор».

Мы имеем сведения, что на немцев надписи эти произвели гнетущее впечатление.

Надо больше говорить с народом. Подбодрять его, оживлять, внушать ему веру в победу и разоблачать перед народом всю сволочь, что продает родину.

С завтрашнего дня на всех стенах будет написано:

«Список объявленных вне закона. Каждый может убить подлецов Игнашева, Суркина, Василькевича, Трохину, продавшихся немцам».

Что нам хотелось бы организовать в дальнейшем? Минную войну. Само собой разумеет-

ся, для нее надо иметь мины. Отсюда вытекает задача разведки — выяснить, есть ли в городе мины надавливающего действия, где они и как их добыть.

Второе — разыскать и связать с нами всех химиков, какие есть в городе, конечно, проверив сначала их. Сдается мне, что кое-что можно было бы изготовлять самим, вспомнив опыт царского подполья. Вот это — самая важная и самая срочная задача, которую мы перед вами ставим.

Что касается нашего штаба, то мы предпринимаем ряд шагов, чтобы объединить или, как у нас иногда говорят — увязать свою деятельность с лесными партизанами, в частности с секретарем нашего райкома Александром Ивановичем Коростелевым. Я думаю, он и минами нас ссудит, и вообще, может быть, удастся подготовить комбинированные удары по немцам — извне, из лесу, на город, и внутри, в самом городе.

— Эх, это было бы здорово! — не стерпел председатель. — Чесануть бы сразу с сотню. А то по одному как-то не то, вида нет.

После речи Коростеева стали выступать делегаты.

— В моем квартале их полевая почта, — сказал один. — Так вот мы уж который раз

почтовые мешки, что адресованы в тыл, за-
сылаем на фронт, а что на фронт — в тыл воз-
вращаем. Такая путаница у них получилась,
с неделю не могут разобраться, а почты с
обоих концов тонны четыре накопилось, весь
двор завален.

— Сжечь ее, сжечь.

— Вот мы так и думали. Наверное, завтра
и сожжем.

Второй делегат сказал:

— У нас один школьник по-немецки ма-
лость читает, так он собрал штук пять или
шесть дощечек с надписью: «Минировано». По-
мните, они, как заняли город, выставили
такие вокруг? Собрал их да на выходе из го-
рода и растыкал. Честное слово, аж смех
брал! Скопилось машин лятьдесят. Шоферы
руками машут, саперов вызвали. Те в карты
посмотрели, полезли, как дураки, по всем
обочинам, с полдня ползали, пока догадались,
что это обман.

— Молодец твой школьник. Ты скажи ему
это от имени штаба. Еще у кого что?

Делегаты кратко высказались и стали по
одному расходиться.

Остались Коротеев и Медников.

— Когда выходишь? — спросил Медников.

— Немедленно.

Коротеев вынул из печи сверток, достал

из него грязную немецкую шинель, белье, обувь.

— Боюсь я за тебя, Никита Васильевич, а идти надо, ничего не поделаешь.

— Я сыграю чеха — это у меня выйдет, — оказал Коротеев. — Бегу, мол, из русского плена. Точка. Да я не немцев, скажу тебе, боюсь — опасаясь я партизан наших не найти. От Александра Ивановича никаких сведений вот уже трое суток. Никогда этого не было.

— Пустяки. Мы бы слыхали, если что. Они б тут по всему городу раззвонили, попадись им Коростелев. Пустяки.

Коротеев нарядился немецким солдатом.

— А ну, сыграй, как оно у тебя выйдет, — попросил Медников, но Коротеев замахал на него руками.

— Не проси. Сглаза боюсь. Я, брат, суеверен. Дай я тебя поцелую, — увидимся ли, кто его знает.

Он подошел мелкими шажками полного и немолодого человека и, громко чмокая, расцеловал Медникова.

— Шаг не забудь. Шаг! — сказал тот сквозь поцелуи.

— Да, да. Верно. Спасибо — заметил.

И вялым, но широким шагом, шаркая сбитыми в каблуках сапогами, словно превозмо-

гая болезненную усталость, Коротеев, не оглядываясь, вышел из комнаты, совершенно не похожий на того Коротеева, который только что целовал Медникова.

...Страшны леса приильменьские.

Кто и родился в них, не знает всех тайн, всех глубин, всех излучин этого дикого царства.

Веками стоят леса эти, и что в них таится, какие дела совершались на их давно заглохших тропах, чьи тела берегут их бесчисленные курганы, никто не знает, никто не слышал. Даже в старых песнях не выдана тайна леса.

Ни сжечь его — воды много; ни срубить — сил мало.

И стоит лесище, раскинувшись от Селигера до Ильменя пещерой со многими ходами, океаном с подводными струями, стоит и воет, старый.

Все в нем — война. И жестче нет ее для пришельцев. Голос гибнущего недалеко слышен округ. Пуля не бьет дальше ста метров: деревья встречают ее то веткою, то стволом и сдерживают, гасят.

Танк не пробьет толпой гущины, конь провалится в ней...

Страшна лесная крепость.

В той необыкновенной войне, которую мы

сейчас ведем, леса играют и все время будут играть роль чрезвычайную, первостепенную. Лес — крепость народная. Нет техники, способной сломить упорство русского леса. В его благословенных глубинах нет для немца ничего, кроме смерти. В этом зеленом море есть свои штормы, рифы, мели и омуты. Гибель тому, кто боится их. Спасение тому, кто знаком с ними.

Безлюден, мертв был лес. Ничто не оживляло его утомительной тишины. Звук топора показался бы сейчас чудовищно страшным.

Старик с котомкой, которого встретил Коротеев на второй день пути, шмыгнул с тропы. Коротеев догнал его.

— Куда, отец?

Старик затрясся, упал в ноги.

— Не губи, господин немец. За хлебцем ходил. Да нигде ничего нету, пусто.

И никак не мог или не хотел поверить, что перед ним русский.

Глядел куда-то в сторону, выражался туманно и, как только Коротеев отпустил его, быстро скрылся в стороне от тропы.

В лесу пахло дымом. Деревни были сожжены. Снег вблизи них был черен. В черном снегу рылись черные вороны, поклевывали куски человеческого мяса.

Вилась тропа — куда? Деревня впереди выгорела, тропа никуда не вела.

Под широкою елью стояла швейная машина. Чья она? Чьи обессилевшие руки бросили ее?.. На перильцах лесного мостика лежала мокрая кукла. Чьи озябшие ручонки положили ее сюда, поручив игрушку случайному путнику?

На стене дорожной будки висел плакат об очередном розыгрыше займа. Все это теперь где-то там, в России. А сколько дней до нее? Сколько сражений до нее?

Грязная, изголодавшаяся собака у сгоревшего хутора проводила путника удивленным лаем.

Потом встретил Коротеев двух женщин. Шли к Валдаю. Не знали, там ли наши.

— Говорят, Москву, гад, забрал?— спросила одна.

— Все равно, пойдем хоть до самой Волги,— сказала другая.— Задичала я тут, кусаюсь охота, как зверю.

...Коротеев благополучно дошел до первой деревни и, узнав, что поблизости немцев сегодня не было, направился в детский санаторий ВЦСПС к учителю Ползикову, который должен был провести его на партизанскую базу.

Штаб карательного отряда стоял в здании детского санатория в глубине парка, посаженного еще при Екатерине.

На полураздавленных колесами клумбах доцветали «золотые шары» и стояли мальвы, сожженные ранними заморозками.

На грязных аллеях грустно торчали фанерные аисты и кони-качалки, гимнастические снаряды и маленькие домики с маленькой деревянной мебелью. Еще сохранилась похожая на недоодеженный пирог куча песку со следами детских лопаточек, и на шестах вблизи санаторного здания много скворешен. Деревянные бирки с именами и фамилиями ребят, прикрепленных к скворцам, болтались на жестком ветру, стучаясь о шесты.

В первом этаже, где когда-то была столовая, выкрашенная светлой масляной краской, с краснощекими малышами, поедающими супы и каши, на больших дешевых панно, в красном уголке и в учительской, где все еще сохранилось, вплоть до глобуса с продавленной Африкой, — теперь разместилась команда карательного отряда.

Офицеры же, капитан Пауль Веленер и его младший лейтенант Рихард Штарк, устроились наверху, в маленькой угловой комнате, выходящей окнами на пруд и село за ним.

Солдаты спали на детских кроватках —

три кровати на одного, — взломав их высокие перильца и приставив кровати одна к другой.

У офицеров два низеньких детских столика вместо стульев, гладильная доска на козлах вместо стола, умывальник и две койки. Из комнаты офицеров открывался вид на пруд, деревню и холм за нею, с церковью, строеной при Грозном.

Капитан приказал ежедневно звонить в колокол по всем правилам, и, так как русские сами не хотели звонить, дежурный солдат ежеутренне и ежевечерне взбирался на колокольню и вяло раскачивал веревку колокола в течение двух-трех минут. Днем не звонили, так как это мешало работать. Но утром и вечером, сев у окна, капитан Вегенер блаженно вкушал своеобразный уют этой лесной стороны, чужой, страшной и все же привлекательной неизвестно чем.

Если бы выбирать себе имение, он, пожалуй, попросил бы что-нибудь ближе к югу. Но в конце концов даже здесь он мог представить себя счастливым — не будь войны.

Зимы еще не было, осень превратила дороги в клейкое черное тесто. В солнечную погоду было еще ничего, зато в пасмурную хотелось сойти с ума. Главным образом из-за ночей. Ночи были черны до ужаса. «Пар-

тизанские ночи», как называли их все. А когда надлежало появиться луне, шел дождь или спускался такой туман, что все равно было темно.

И вот была такая ночь, когда не видно и своего носа. В воздухе стояла беспокойная ветреная зыбь, лес поскрипывал, будто все деревья его шагали вразброд, махая ветвями, чтобы не споткнуться.

Капитан Пауль Вегенер возвращался в штаб из деревни за прудом. До парка его довели с фонарем, но по аллее он пошел в темноте один. Он шел от дерева к дереву, прислушиваясь, оглядываясь. Отовсюду что-то шагало на него, что-то покрикивало со всех сторон. Он несколько раз вздрогнул позвоночником, как лошадь под укусом овода. «Проклятая ночь». Но дом был, к счастью, рядом.

Капитан Пауль Вегенер ощупью взошел на террасу и долго искал входную дверь. Из комнаты доносились голоса солдат. Он постучал в стену. Они не слышали. Капитан постучал громче, но в этот момент солдаты захлопали в ладоши и опять не услышали его стука. Тогда деревянной кобурой маузера Вегенер ударил в стену.

«Хоть бы окно попало под руку, чтобы разбить стекло, крикнуть им», — подумал он.

И оно как раз очутилось под деревяшкой маузера. Раздался звон стекла. В комнате, падая, затарахтели стулья, послышалось кланье затворов, и проклятая дверь настежь распахнулась, несколько солдат с фельдфебелем во главе едва не сбили с ног капитана.

— Назад! — сказал он, шурясь от света, и рукою, вытянутой вперед, загнал их обратно в комнату. — Фельдфебель! Почему нет дневального у входа? Почему здесь крик, как в пивной?

Солдаты замерли в грязном нижнем белье.

— Спать, не раздеваясь. Мы на войне. Соблюдать тишину и поставить дежурного снаружи.

Он поднялся наверх, еще дрожа от ночной темноты, которая до сих пор стояла перед его глазами.

Комната была заперта.

— Что за чорт? Рихард!

Лейтенант был в комнате, но открыл не сразу.

— Я помешал тебе, Рихард? — раздраженно спросил капитан.

— Да нет. Чем ты мне можешь помешать, капитан? Я просто запутался в вещах, — и лейтенант кивнул в сторону стола, на котором разложены были детские пальтишки, костюм-

чки и ботинки, приготовленные для упаковки.

— Откуда это у тебя?

— Круглосуточная крутовая разведка — залог успеха, капитан. Спустился я в подвал — ты слушаешь? — и вижу: наш сторож, этот высокий русский, прячет там троих ребят. Мы тут с тобой сидим, ни черта не знаем, а внизу — целое сборище.

— Да, безобразие, — безразлично сказал Вегенер. — Ты распорядился там?

— Все устроено, капитан. Завтра я сам найду другого сторожа.

— Отлично. Надо бы выпить, Рихард.

— Темная ночь, капитан?

— Да, чорт бы побрал. Висит над головой, как снаряд замедленного действия, висит — и не знаешь, когда он падет на твою несчастную голову — сейчас, завтра или, может быть, никогда.

— Психопатия заразительна, капитан. Я тоже начинаю бояться ночи, — сказал Штарк, стоя на коленях и держа в зубах конец веревки, которой он перевязывал пакет.

— Убирай поскорее всю эту ерунду, Рихард, и давай выпьем, хорошо поедим и хорошо выпьем. Мы что же, остались без сторожа?

— Оказывается, он был учителем, — ска-

зал лейтенант, быстро завязывая второй пакет.— Я подозреваю, что в сторожа он определился с особыми целями. Но сейчас это уже не играет значения. Я кончаю. Одну минуту...

Капитан сел к столу.

— Бочаров только что привез тело Коростелева. Его опознало человек тридцать... сомнений нет, это он.

— Он? Браво! Поздравляю. Все оформлено?

— Все.

Лейтенант быстро сунул все три пакета под койку и крикнул:

— Ганс!

Солдат, очевидно, давно дожидался зова у дверей комнаты. Пахнувший дымом, как головешка, он вошел с подносом в руках. Подмышкой у него была зажата бутылка, на локте висел небольшой бидончик с пивом.

— Пиво у них плохое, а коньяк силен, настоящий мужской коньяк,— сказал лейтенант, открывая судки, в которых лежали ломтики жареной свинины, винегрет из бурачков и капуста с картофелем.

Капитан смотрел в угол, барабанил по столу пальцами.

— Хватит, капитан. Ты хотел выпить, давай выпьем. Это, знаешь, такая удача — Коростелев.

— Темные ночи меня так измучили, что я едва держусь. Если бы война шла при луне... — сказал капитан, продолжая смотреть в угол.

— Если требовать невозможного — так пусть бы она шла только в прохладные летние дни... Бочаров не сообщал ничего нового? — перебил его лейтенант, желая увлечь другой темой.

— Говорит, отряд Коростелева рассыпался. Остатки уходят за линию фронта.

— Вторая удача. Можешь потребовать отпуск. И дадут.

Вегенер не ответил. Улыбаясь, глядел он на пламя свечи, и кожа на его щеках, напоминающая лимонную корку, произвольно подергивалась, словно он изнутри подталкивал ее языком.

Штарк взял его за руку.

— Не надо. Честное слово, лучше тогда застрелиться. Вот твой стакан. Пей. Я влил в него немножко коньяку, это называется «ерч», русский коктейль.

— Это хорошо. Давай, действительно, выпьем и крепко уснем. Чорт с ней, с ночью. Как-нибудь, а?

— Поверь моему совету, капитан: кровь — самое сильное средство для укрепления нер-

вов. Тебе нездоровится? Немедленно пролей кровь. Вид пролитой крови молодит нашего брата. Немец замешен на крови. Это не мое мнение, а какой-то большой персоны. Кровь— наше вдохновение, капитан. Она...

— Я много раз слышал это от тебя.

— Ну, и как? Я не прав? Пролой кровь, если тебе страшно, и станешь смелым. Трусит только тот, кто мало пролил крови.

— Я не трушу, я болен.

— Все равно. Нет лучшего средства стать на ноги, как кого-нибудь убить. Когда сердце почувствует, что ему все можно, оно забьется у тебя иначе.

— Есть много других средств...

— Нет других средств,— сказал Штарк. Он раскладывал в тарелки картофель с капустой и размахивал ножом, как капельмейстер.— Картофель чуть-чуть подморожен. Но выручает уксус... Нет других средств. Кровь — одно средство. Понял? Если ты немец, это должно доставлять тебе удовольствие. Когда она течет, лоснясь, как бархат... Да что рассказывать! Убей и насладись... Будешь здоров...

Он поднял стакан с пивом, в который уже заранее влил две рюмки коньяку, и поболтал им в воздухе. Потом, закрыв глаза, выпил и вздохнул с удовлетворением.

— Кроме того, я тебе скажу, убивать надо

систематически. Когда долго не проливаеть крови — это вредно.

— Может быть, может быть, — произнес капитан с безразличной усмешкой.

— И наконец, капитан, если мы будем воротить нос от крови — мы с тобой лопибнем. Надо привыкнуть к тому, что мы еще много прольем ее. Я пьян, но говорю верно. Согласен, что я говорю верно? То-то. Я всегда говорю верно, когда пьян.

Солдаты уже спали. Дневальный вытанцовывал чечетку на мокрой веранде. Ночь была очень длинная. Офицеры пили, пили и все-таки никак не могли пересидеть ее, и наконец заснули, не раздеваясь, положив головы на стол.

А ночь и впрямь была темна по-партизански. Еще с вечера Коротеев добрался к пруду, но не пересекал его до совершенной темноты. Лишь за полночь пересек он пруд и ползком, в сопровождении мальчика — сынишки домохозяина, у которого пересиживал вечер, пополз мимо часового в санаторный парк. Расстояние было невелико, около двухсот метров, но одолевать его пришлось более часа. Хрустни под телом ветка, зашурши сухой лист — и все кончено, и бежать некуда, смерть.

За исключением этого смертного пути — место было замечательное, под самым носом у немцев, и учитель был здорово осведомлен.

Ветер в эту ночь партизанил во-всю. Часовой не слышал, как проползли двое. В заборах щель. Затем аллея. Здесь опасность уже гораздо меньше, разве что какая-нибудь случайная встреча.

Теперь самое главное: спуститься по лестнице в подвал, пролезть узким ходом, почти без воздуха — и вот они в сыром подвальном коридоре. Тут можно, закрыв рот руками и кашлянуть, и отдышаться. Потом тихий стук. Молчание. Второй стук. Молчание. Третий стук. И черная дверь из черного коридора бесшумно открывается в новое черное пространство.

Коротеева бросило в пот. Никто не встретил их ни одним словом, и, казалось, кроме него и мальчика, нет ни одной живой души в этом смрадном подземелье.

Но тотчас же он услышал едва уловимый шелест человеческих губ:

— Ты, Вася?

— Я,— так же тихо ответил мальчик.

— Ты привел кого-то? Вас двое?

— Да.

И дверь тихо-тихо закрылась за ними. Ко

ротеев дрожал. Голос, повидимому учителя, несколько громче произнес:

— Вы ко мне?

— Да,— ответил Коротеев,— от Медникова.

— По какому делу?

— Мне к Александру Ивановичу.

Молчание.

— Мне нужно в его отряд,— сказал Коротеев.

— Отряда больше нет,— услышал он.

— Что же мне делать? Вы не можете зажечь свет, чтобы мы поговорили с вами?

— Нет, не могу. Вам нельзя быть у меня— я открыт немцами. Слышишь, Вася? Не ходи больше ко мне.

— Зажгите свет, я умоляю,— сказал Коротеев.— Вы должны мне посоветовать. Я же не могу вернуться в город, не побывав в отряде. Вы слышите меня?

— Да, я зажгу свет, но вы одни останетесь со мною, вашего проводника я сейчас отпущу... Уходи, Вася.

Шорох двери. Тишина. Чирканье спички.

— У меня сегодня большое горе. При свете вы увидите тяжелую картину, возьмите себя в руки,— услышал Коротеев, и, когда зажгется свет, он призакрыл глаза.

Помещение было маленьким, тесным. Высо-

кий худой учитель укрепил свечу в горлышке бутылки.

— В городе вы, должно быть, привыкли ко многому, и мое горе едва ли покажется вам серьезным, но поглядите...

И Коротеев взглянул, куда показал рукою учитель.

Три маленьких тела лежали на куче соломы, небрежно покрытой темной дерюгой. «Нет, это же кровь — не дерюга», — сразу разобрался Коротеев.

— Один жив, но что я буду с ним делать? — прошептал учитель. — Я кое-как перевязал его. Вы не врач, кстати? Жаль. Утром они его все равно умертвят.

Не было сил оторвать взгляд от детских тел. Одно из них, скрюченное предсмертной болью, было таким худым, что как бы всосало в себя рубашонку. Лица не было видно, оно было прикрыто шапкой, но руки с бледными пальчиками, вымазанными в чернилах, еще казались живыми.

Коротеев коснулся их — они были уже тверды.

— Этот мальчик — любимец мой, — сказал учитель. — Способный, даровитый. Все время писал отцу письма на фронт. А как остались мы у немца, он вел дневник. Какая трогательная и страшная книга! Ребенок на войне...

Такой книги еще не было в мире... Ему попало первому, но, думаю, все кончилось у него быстро. Шесть пуль в голову — много даже для такой умной головы, как его. А этот... — и учитель потянул Коротеева за плечо ко второму телу.

Оно лежало навзничь, свет нервно бегал по его лицу, словно ища лазейки внутрь, туда, где еще, может быть, теплилась жизнь. Белый помятый вихор, белый крутой лоб и голубая щелка страшных своей неподвижностью глаз, и губы, умершие на вскрике, и белые ряды зубов... и все такое жалкое, страшное, как всегда бывает страшна детская гибель.

— Этого я октябрил когда-то. Сирота. Жил у бабки. Ему шел девятый год. Какой поразительной душевной чистоты был он, если бы вы знали...

Коротеев взял учителя за плечо.

— Как это произошло?

— Сегодня один из здешних офицеров случайно нашел нас. Я ведь тут сторожем числился. Ребятки, по старой памяти, лазали ко мне. То расскажи им, как война идет, то сказку придумай. Сколько раз запрещал им ходить ко мне — лезут все-таки. А ведь и мне без них было тяжело. Выходить на деревню

не могу, так что через них только и была связь с миром...

Коротеев остановил его:

— Надо думать, как выбраться отсюда.

Учитель с трудом понял, что ему говорит Коротеев.

— Да, да, конечно,— ответил он.— Но я еще не сказал вам, что и я ранен тоже. И плохо ранен — в грудь.

Он погладил рукой лицо мальчика, которого когда-то октябрил.

— Милый мой, сирота ты моя родная...

Коротеев понял, что нужно немедленно что-то предпринимать. «Бросить третьего раненого мальчугана, ничего не поделаешь, вытащить учителя и уйти»,— он взглянул на третьего мальчика и виновато отвел глаза в сторону. Казалось, тот спит или в обмороке. Но два маленьких заплаканных глаза, не мигая, смотрели на Коротеева со страхом и вместе с тем с трепетной надеждой.

— Вы способны идти? — спросил Коротеев учителя.

— Могу попробовать.

— Вставайте. Я возьму раненого, а вы пойдете самостоятельно.

— Куда же? — спросил учитель.— Тело Коростелева только что опознавали в этом селе. Отряд его рассеян. Повидимому, там за-

велся предатель. Я ничего не знаю, кроме того, что с предателем связан некий Бочаров. Куда ж мы пойдём? На деревню? Чтобы ее наутро вырезали?

— В другой отряд.

Учитель поглядел на раненого.

— У Константина перебито плечо и прострелена нога, кажется, с повреждением кости. Кроме того, он раздет. Этот палач снял с него даже мокрый от крови валенок, а на дворе холодно.

— Вставайте и пойдём.

— Мы приняли с Константином другое решение,— сказал учитель.— Мы их подожжём сегодня, спалим весь дом — вот и все.

— Мальчик из этой деревни?

— Ага,— тоненько, радостным, дрожащим голосом пискнул Константин.— Чупрова сын я.

— Так вот. Я дорогу помню. Я заберу Константина и донесу его до дому, сдам отцу. Чупров сможет проводить меня к партизанам или, по крайней мере, объяснить дорогу?

— Папка-то? — бойчей стал Константин.— Папка-то может. Он у Коростелева связной, все знает... До емельковского лесника Петра Семеновича дойдешь, а там скажут.

— А я их сожгу, спалю,— сказал учитель.— Я их сегодня погрею, Костя. За всех вас, ребяташки мои родные...

Он обернулся к Коротееву:

— Убивать детей — это ведь страшно. Не смотрите никогда, как убивают детей. В маленькое, слабое тельце вгоняют свинец, и оно тает на глазах. Дети — они даже сопротивляться боли не умеют, они — как стеклянные — бьются сразу...

Глаза Коротеева давно были полны слез, и он едва сдерживался от рыданий.

— Теперь о вас, — с трудом сказал он. — Чем вам помочь?

— Все свое я сделаю сам, — ответил учитель, проводя рукой по глазам. — По совести говоря, весь вопрос был с Константином. Но если вы возьмете его — тогда все.

— Я бы взял и вас, но не под силу.

— Понятно. А дело — всегда дело. На всякий случай, если доберетесь до Чупрова, скажите ему — сегодня я жгу немцев.

— Хорошо.

Коротеев подобрался к раненому мальчику и взял его на руки. Дрожащие руки доверчиво охватили его шею. Коротеев уткнулся в ручонку и заплакал, заплакал навзрыд.

— Тихо, не плачь, дядя, — услышал он тихий шопот на ухо. — Выберемся, дяденька, ты только меня не бросай.

И, целуя грязные, шершавые детские пальцы, Коротеев едва выждал, пока учитель по-

гасит свет и выпустит их в коридор. И как вышел в опасность — забыл обо всем.

Сказал только одно:

— Молчи. Как бы ни было больно—молчи.

И Константин в ответ только прижал к себе его голову.

С тех пор, как Сухов отправился в штаб фронта, прошло много дней. О нем не было ни слуху, ни духу. Между тем, народ сходился к Петру Семеновичу Невскому со всех сторон, и надо было решать, как поступить с отрядом. Чупров настаивал на том, чтобы не ждать Сухова, а самим взяться за формирование, и писал, что такого же мнения и представитель райкома, который сейчас живет у него, у Чупрова, и скоро будет в штабе. Невский медлил.

Но однажды глубокою ночью Чупров постучался в сторожку лесника и, не снимая тулупа, не сбив снега с валенок, вошел в горницу, сердито разбудил Невского и, показывая рукой на входящего Коротеева, сказал:

— Вот это и есть делегат из райкома, я тебе писал. Вот, пожалуйста, обсудите положение.

Петр Семенович, спавший одетым на печи, быстро спустился вниз.

— С прибытием. В чем дело?

Коротеев поздоровался, раскрыл блокнотик и, морща лоб, перелистал его.

— Я, Петр Семенович, к вам двух колхозников по срочному делу привез.

— А на какой предмет? — спросил Невский.

— Как на какой предмет? — Коротеев откинулся и удивленно поглядел на Невского. — А, как по-вашему, политической работой будем мы заниматься или нет?

— Политической? — переспросил Невский.

— Вот именно.

— Вам видней, поскольку вы из райкома, — ответил лесник.

— Значит, будем вести, — закончил Коротеев.

Вошли двое колхозников. Невский взглянул на них — обоим он знал лет десять.

— Вот они обращаются к вам за помощью, — сказал Коротеев. — Немецкий комендант велел сдать всех коней к завтрашнему полдню, по двум колхозам это даст семьдесят пять коней и семьдесят пять саней...

— Выручи, Семеныч, утони наших лошадок к себе в лес, — сказал один из пришедших. — Сделай набег на нас, а мы организуемся, чтобы тебе полегче было.

— Ежели ты не поможешь, больше не к кому, — сказал и второй.

— Как, Федор? — спросил Невский Чупрова. — Ты что скажешь?

— Да чего тут говорить, угнать — и все. Подай приказ — завтра сделаем. Только вот при тебе предупреждаю: будет какая измена — они первые под наган. Это уж так условимся.

Колхозники встали.

— Спасибо за выручку... Пойдем, Федор, договоримся.

Невский с Коротеевым остались одни. Нагалья и Павел спали на другой половине, их дружный храп отдаленно доносился, как скрип раскрытых на ветру ворот.

Коротеев долго не начинал разговора, выжидая, не начнет ли Невский. И точно — лесник не выдержал.

— Бери-ка ты, товарищ Коротеев, команду, а я у тебя на послуге буду, — сказал он, взял Коротеева за руку и хлопнул ладонь о ладонь. — Какой я командир?

— Ты командир не плохой, народ тебя знает и верит тебе, — так же, как и Невский, на «ты», просто ответил Коротеев. — Мое дело — помочь тебе.

— Дал бы ты мне книжку какую или ин-

струкцию... Может, написано где обо всем, как действовать?

— Книг много, да тебе они сейчас не нужны, Петр Семенович.

— Как не нужны? Партизанское дело не новое, оно исстари велось, опыт есть.

— Нет, дорогой мой, никакого опыта для нашей войны. Таких партизан, как мы, было совсем не так уж много. Те, что были, мало на нас похожи. Ну, что ж, были партизаны и у Петра Первого, их действия против Карла Двенадцатого на Украине отличались большим размахом, да кто они были — драгуны, часть регулярной армии, они только на время отрывались от основных войск да и решали несложные тактические задачи. Австрийцы, в эпоху войн с пруссаками Фридриха Великого, создали тип партизана, уже более близкий к нам. Венгры, хорваты и сербы пронеслись тогда через всю Германию и даже перебрались за Рейн. Да что тебе сказать! Наш Александр Васильевич Суворов первую свою известность получил за партизанский набег на Ландсберг в Семилетнюю войну... А Платов, а Денис Давыдов, а Фигнер!.. Большие люди. Нам с тобой надо и у них учиться, и у старостихи Василисы — слышал о такой? — да она, к сожалению, дневников после себя не оставила. Нам с тобой надо учиться

и у старых большевиков-подпольщиков, у наших партизан гражданской войны, а больше всего — у самих себя... Мы с тобой обязаны и о посевной думать, и школы мы обязаны открывать... Кстати, сколько школ у тебя закрыто немцами?

Невский с прустною нежностью поглядел на Коротеева.

— Двадцать три школы, — сказал Коротеев, заглянув в блокнот. — Видишь, какое оно дело?

— Вижу. Не по мне.

— Ну-ну... Лишь бы дым прямо шел, не беда, что труба кривая, — рассмеялся Коротеев. — Не годы растянут, а работа. Захочешь — справишься.

— А что, Никита Васильевич, если мне самому в штаб сходить? — спросил Невский. — Вот я слушаю тебя и слушаю, и страх меня берет за этого Сухова. Сходить разве мне самому?

— Я хотел было сам тебе это предложить, да боялся, как бы ты не понял моего предложения... ну, как, понимаешь... как недоверия, что ли. А, вообще-то говоря, сходить тебе просто необходимо.

— Завтра же и пойду. А ты все на себя возьми.

— Завтра, так завтра. Хорошо. В таком

случае я хочу тебя поставить в известность, что произойдет, пока тебя не будет.

— Загадал, что ли?

— Зачем загадал? Запланировал. А вместе себя ты все-таки Федора Чупрова поставь. Так лучше.

И Коротеев, опять перелистав свой блокнотик, прочел план действий, примерно, на десять дней, составленный им еще вчера.

Было намечено в плане несколько докладов на сельских собраниях о положении на фронтах, три приговора над предателями, которые он тоже хотел провести через сельские собрания, набег на авторемонтную немецкую мастерскую и — самое серьезное — захват железнодорожного полустанка Х., где, по данным разведки, стоял только что прибывший эшелон с провиантом, для разгрузки которого и собирали крестьянских лошадей.

— Быть тебе генералом, Никита Васильевич, с такой головой, — и лесник сжал Коротеева в своих могучих руках.

Спустя три дня Петр Семенович сидел в штабе у одного небольшого начальника, ведающего партизанами, пил чай в накладку и рассказывал о делах отряда. Сухов не появлялся в штабе.

Ночью, когда рассказ его был перепечатан

на машинке, начальник наскоро вымыл руки, надушился одеколоном, пришел чистый воротничок к гимнастерке и, подмигивая Петру Семеновичу, поехал с ним в штаб.

— А духи-то зачем на себя вылил? — с любопытством спросил Петр Семенович.

— Захарьин, брат! — многозначительно ответил начальник.

— Кто это Захарьин?

— Не слыхал? Ну, сам увидишь, — и он захохотал, очевидно, предвидя впереди что-то очень веселое.

Ехали вдоль красивого озера с капризным профилем. Стояла полная луна. Вода была словно никелирована. Белый монастырь на острове нежно сиял на голубом лунном фоне.

Обгоняя воинские колонны и встречаясь с колоннами беженцев, объезжая трупы павших колхозных коров, сталкиваясь с брошенными телегами и подскакивая на ямках для мин, они довольно быстро добрались до штаба.

Ждать приема пришлось не долго. Но Петр Семенович, утомленный опасной дорогой из отряда в штаб, после горячего чая с водкой, которым угостил его небольшой начальник, и несколько волнуясь в ожидании ответственной встречи, стал засыпать на глазах у всех. Когда заснул всерьез, их как раз и вызвали.

Разговаривать с ними должен был знаменитый Захарьин, комиссар, только что приехавший из Москвы.

Когда сегодня днем маленький начальник по партизанским делам доложил ему о гибели Коростелева и что-то промямлил относительно плохой связи с отрядом, Захарьин велел немедленно доставить к нему емельковского лесника.

— Ну, Петр Семеныч, следи за собой,— успел шепнуть Невскому начальник и, шумно вобрав в себя воздух, нежным и ласковым движением приоткрыл дверь в кабинет.

Высокий, плотный человек встретил их на пороге кабинета. Он нетерпеливо поводил плечами, точно готовился к рукопашной.

— Из отряда Коростелева? — и, не ожидая ответа: — Сами кто будете, как зовут?

— В обиходе зовусь Емельковым, поскольку я емельковский участковый лесник. А по бумагам звонко значусь — Петр Семенович Невский.

Захарьин, усмехнувшись и осторожно поправляя маленькое пенсне на своем широком энергичном лице, сказал:

— Вот если бы вы так воевали, как вам по фамилии надлежит... хорошо было бы. Садитесь. Рассказывайте.

И Петр Семенович начал снова рассказы-

вать то, что он только что доложил и что было уже напечатано и лежало перед начальником, но Захарьин то и дело перебивал его, задавая вопрос за вопросом, и доклад благодаря им становился другим, новым — все обыкновенное приобретало теперь, в новом повествовании, гораздо большее значение и смысл.

Захарьин расспрашивал о настроениях жителей, о положении с тяглом, о том, есть ли соль и спички, сколько закрыто школ, то есть как раз о том, что Невский считал не партизанским делом и что знал кое-как.

Чистенькая, аккуратная девушка принесла два стакана чаю и бутерброды, и Петр Семенович, не сообразив, что один стакан принесен Захарьину, выпил оба. Тогда, немного погодя, она принесла еще два стакана и, с укоризною поглядев на лесника, теперь уже поставила стаканы не вместе, а порознь, перед каждым в отдельности.

«Нехорошо», — подумал Петр Семенович и, вспотев от смущения, стал быстро заканчивать свой доклад.

Захарьин встал, осторожненько положил пенсне на тетрадь, сказал, поднимая плечо:

— В любом деле главное — не терять перспективы. Кто ее потерял, тот пропал. Это твердо запомните...

Он прошелся по комнате, вздрагивая плечом, приблизился к карте, занимавшей всю боковую стену, и прочертил рукой волнистую линию от уровня своей головы вниз.

— Надо, чтобы там всюду земля горела под их ногами... Мстить надо конкретно. Убили у вас ребенка — мстите именно за него не вообще за ребят, а за этого, с именем и фамилией. Сожгли деревню? Мстите за нее. Наш колхозник — человек точный. Когда за его избу, за его сынишку мстят, он это всей душой поймет, он и сам возьмет винтовку. Как, товарищ Невский, возьмет?

Петр Семенович показал рукой, что, мол, возьмет безусловно.

Захарьин продолжал:

— Партизанская война — на народе. Там ваш театр войны. Где горе, где беда — там вы нужны более всего. Партизан — общественный деятель, не забывайте. Не только сражаться, но и воспитывать вокруг себя людей политически. И главное — ни одного дня без борьбы!

Командиром коростелевского отряда назначаю вас. Отдохните и возвращайтесь к себе... Сводки посылайте короткие и правильные. Не бойтесь давать нам советы и предложения, делитесь опытом. Война — это все время поиски нового. Кто зевает — проигрывает. Сол-

дат жуется в бою, мы, начальники, — тоже. Кто рассчитывает получить все готовое — ошибается... От неудач не расстраивайтесь. У вас еще будут неудачи, но на этом проверится и отберется народ...

Петр Семенович встал и первый протянул руку этому страшному Захарьину и — как уж вышло, не помнил — сказал ему:

— Дорогой товарищ комиссар, золотые твои слова.

Так, не разжимая рук, вышли они в коридор, как два родных брата.

Сонные порученцы встали при их появлении.

— Проводите к полковнику Богодухову. Он уже знает.

...Светало, когда, получив все нужные ему сведения, Невский возвращался из штаба.

Где-то близко работали зенитки.

В голубом, но уже потускневшем небе слышен был рожок моторов.

На чистом горизонте нежно розовели зарева горящих деревень.

Невский закрыл глаза.

— А у меня сейчас бой!.. Что-то там — увидеть бы!

Чупров благополучно «отбил» у двух колхозов семьдесят пять коней с санями и держал

их наготове в лесу. Набег на коней был первой частью налета на полустанок. Немцы, торопясь разгрузить эшелон, быстро собрали десятка два саней по всем соседним колхозам и с конвоем из четырех солдат направили их к полустанку. Не успели те подойти к месту, как их напал другой обоз из двадцати саней, с Коротеевым в немецкой форме.

Стали пружиться сразу сорок саней. Час спустя подошел третий обоз, стали пружить и на него.

С последними пятнадцатью санями прибыл Чупров. Начинало темнеть.

— Наше время подходит,— шепнул Чупров Коротееву, который, поминутно козыряя немцам, спокойно выправлял какие-то бумаги на груз и только едва кивнул головой.

Партизаны таскали кули и ящики из вагонов и укладывали на сани. Те, что погрузились раньше, вытянулись на дороге за полустанком, поджидая остальных.

Два солдата, пританцовывая на морозе, стояли в голове обоза.

Все немцы были на самом полустанке, в комнате, где выписывались документы, или у вагонов, возле которых они велили зажечь костры, чтобы видней было отбирать пруж.

Чупров прошел вдоль поезда. Ребята стояли где надо. Коротеев, выправив документы,

шел, чеканя шаг, к обозу. Тогда Чупров быстрым и легким движением вынул из-за пазухи гранату и метнул ее в окно станционного здания.

Разом загрохотало и у эшелона. Полетели вверх поленья из костров, затрещали вагоны, вспыхнуло сено, как бы невзначай наваленное у вагонов, и застучали скороговоркой партизанские автоматы.

Чупров, бросив гранату в станционное здание, видел, что там сразу погас свет, но он не знал, есть ли там целые, и, прислонясь к ящичку, лежавшему на платформе, внимательно держал здание под контролем.

Он не оглядывался на то, что происходит на путях, а вслушивался. Но когда занялся озорным огнем близко стоящий возле него вагон, лежать на свету стало рискованно, и он отбежал к киоску.

Положение сразу стало яснее.

Поезд горел уже почти весь. Немцы, успевшие живыми выбраться из вагонов, стреляли, укрывшись за полотном дороги.

Слышны были робкие очереди и на дороге, у обоза.

— Федор! — услышал он крик. — Пора или нет?

— Огня мало. Погасят, сволочи, — ответил Чупров.

— Огонь сейчас будет. Спирт загорится.

— Подождем.

Кривоногий Федорченков пробежал, согнувшись, вдоль поезда, бросая бутылки с бензином в настежь открытые вагоны. Огонь сразу повеселел. Миша Буряев поддал огня в хвосте поезда. Коробейник, любивший делать все медленно и точно нехотя, поджег выход из станционного помещения.

— Ну, теперь пора! — крикнул Чупров. — Все ко мне!

И, хоронясь за каждый выступ стены, припадая к земле, партизаны проскочили освещенную полосу и скрылись за домами железнодорожного поселка.

Выстрелы немцев сразу усилились, охватили полустанок со всех сторон, приближаясь к дороге.

— Бегом! — скомандовал Чупров.

Он сбросил с себя длинную волчью шубу, побежал в одной куртке.

— Замерзнешь, Федор, подними шубу! — кричали ему.

— Ничего!.. Хоть на час, да вскачь!

За последним баракom стояли розвальни, запряженные парой коней.

— Груня?

— Я, дядя.

— Сбрось наши лыжи и гони во-всю! Обоз далеко?

— Обоз хорош! — просмеялась Груня, племянница Чупрова, и щелкнула языком.— Ну, родные!..

Кони уже неслись.

Партизаны быстро порасхватали лыжи.

— Целиной!

— Есть целиной!

— А, может, ну их к чертям, пойдем трактором?.. На чем они будут догонять?

— Тихо. Не разговаривать. Пошли целиной.

Когда отошли километра за три, Чупров спросил:

— А что грузили-то, известно?

— «Тринкен» главным образом, выпивку,— не без удовольствия сообщил Федорченков.

— И газеты есть, и консервы. Зачем же! Умно подобрано.

— Будет теперь Наталье работеха,— засмеялся Чупров.— Сейчас она это в двадцать пять ящиков позарует, потом не допросишься. Я у нее недавно муки просил, ну, дала она, как говорится, адрес, нашел я то место. копаю — спирт. Я к ней. Ошибка, говорю. Покраснела, бедная. «Извините,— говорит,— дядя Федор», и дает мне другое место. Что за чорт! Опять спирт.

— Везет тебе! — сказал Федорченков. — Со мной вот таких чудес никогда не бывает. Хоть бы разок ошиблась.

Выстрелы давно замолкли за спинами партизан, а зарево сильными рывками поднималось, подпрыгивало все выше и выше, и часто вздрагивало, и темнело.

Точно сговорясь, партизаны не поминали о набеге. Поговорив о том, о сем, о пустяках, они замолчали, потому что итти было трудно, а они устали и были голодны. Но, не глядя на их усталость, Чупров упрямо вел группу по целине.

Был вечер. Наталья не зажигала огня. Прислонясь спиной к печи, сидела она на низенькой табуретке и, закутавшись в шаль, громко разучивала наизусть:

— Картошки двенадцать мер на Иваньковском кладбище... двенадцать мер под могилой с чугунным крестом... У колодца на тракте патроны... патроны у колодца на тракте... Керосину пять бочек...

Дверь в сенях шумно раскрылась, вбежал возбужденный Павел.

— Где лыжи?

— Где-то отец схоронил, не знаю. Куда собрался?

— Сбегаю к большой сторожке. Слышно— саней пятнадцать туда прошло, голоса слышны, песни.

— На полатях лыжи. Да и мои сними, вместе сходим, одна боюсь оставаться.

— Боюсь, боюсь.— недовольно проворчал Павел.— Я же говорил, как тебе поступать. Вышла б за Сухова и горя не знала. Да и сейчас в общем не поздно. Вернется он из штаба, отряд наверняка распустит, в Москву поедет. Вот и я бы с тобой.

— Молчал бы уж со своими советами,— сказала Наталья.

Лес был подернут вечернею мглою, все таяло в нем, все терялось, и даже голос падал у самых губ, не распространяясь в воздухе.

Шли осторожно, боязливо. Не доходя версты до старой поляны, где стояла их большая изба, почувствовали запах дыма, и мгла впереди пожелтела.

Пять или шесть костров трещали на поляне, и черные силуэты людей со светящимися головами качались вокруг них.

— Поди-ка, разнюхай,— сказал Павел сестре.— Смотри, только к мужикам особо не суйся, а то дадут тебе пряника.

Но тут же усовестился и, остановив сестру, вышел из леса сам.

Наталья подумала и двинулась следом за ним. И только вышла на поляну, поняла — Сухов здесь.

Он — Наталья увидела сразу — стоял на крылечке, в новом черном полушубке и серой барашковой папахе, и держал речь. Наталья оглянулась — Павла нигде не было, и она одна подошла к последнему костру и стала в сторонке, за чьими-то санями, груженными мясом.

Поляна напоминала колхозный рынок в канун базарного дня. Тесными рядами стояли розвальни, груженные мясом и мукою. Мычали телята. Попискивали в лукошках куры. Из раскрытых кадушек розово-белыми комьями выглядывала мороженая клюква. В пахнущих сушками рогожных кулях поблескивала рыба. На кудях лежали завернутые в тряпье винтовки, а у двух саней торчало по станковому пулемету. Коростелевские партизаны и приехавшие с ними вступать в отряд новички набивали патронами пулеметные ленты и сушили у костров валенки. Мальчишки, приехавшие со старшими, возбужденно носили воду, наливали ее в черные, прокопченные на кострах ведра, набрасывали тулупы и одеяла на прозябших коней и, перекликаясь друг с другом, помогали отцам стряпать ужин.

Все было возбужденно, приподнято и, несмотря на будничную обычность, звучало новыми

голосами. Наталья подошла ближе к сторожке.

— Вижу я, без меня отклонения от директивы произошли,— услышала она голос Сухова.— Откуда народ, зачем? Кто велел собирать? Был я в штабе и получил указание отвести партизан за линию фронта. Так и сделаем, как нам приказано. И всех вас, кто сюда прибыл неизвестно зачем, с собой заберем.

— Куда же нас из родных мест уводишь, Аркаша? — сказал Чупров.— Собирались мы по приказу Петра Семеновича. Я сам двадцать человек сагитировал, вот они. Народ все крепкий, известный нам. А тут еще и товарищ из города прибыл,— и он показал на человека в зеленой немецкой шинели (это был Коротев), с интересом следившего за партизанским сходом.

— Кого ты привел мне, немца? — закричал Сухов.— Под суд за это, под суд!

Народ недовольно зашумел.

— Это, Аркаша, не порядок... Нельзя так... Где лесник?

И тут Наталья увидела Павла. Размахивая руками, он вертелся у крыльца сторожки.

— Вот послушайте, что его сын говорит! — прокричал Сухов.— В разведку, говорит, отец ушел. Слыхали? А какая такая разведка? Сиди дома да чай попивай — вот и все задание.

Боюсь я, граждане дорогие, таких разведчиков. Потому и повторяю приказ — готовиться к выходу за линию фронта.

— Мы тебе присяги не давали, — сказал пожилой колхозник, из тех, что пришли вступать в отряд. — Как, ребята? — спросил он поляну.

— Верно, не давали! Да кто он, Сухов этот?

— Видали разложение? — сказал Сухов двум-трем стоявшим поблизости от него партизанам. — Боюсь я — чужеродных элементов тут много.

Не успел договорить он, как перед ним вырос худой, изможденный человек с темною всклокоченною бородой, одетый в латаную суконную куртку, немецкие брюки и деревенские сапоги. Левый рукав куртки был пуст.

— Ты кто, слушай, будешь? — вызывающе спросил он Сухова звучным, нерусского тона голосом, в котором слышался легкий южный акцент. Так говорят русские, много лет прожившие на Кавказе и перенявшие и тамошний лад речи, и тамошние ухватки.

— Откуда ты взялся? Кто такой? Зачем командуешь? — все более горячась, спрашивал безрукий.

При первых звуках его голоса Наталья вздрогнула и, сжав руки в почти несбыточной.

обманчивой надежде, замерла, прислушиваясь к тому, что он скажет дальше.

— Раньше доложи нам, как вы Коростелева потеряли,— продолжал безрукий.

«Он!» — мелькнуло, но она еще не верила себе. Шаг за шагом приближалась она к нему, все более узнавая и все-таки еще боясь ошибиться.

Коротеев тронул Чупрова за руку.

— Хорош парень. Откуда он?

— Похоже, армейский.

— А ну, ребята, ведите его в избу, сейчас разберемся, кто откуда,— сказал Сухов, и Павел с двумя другими повели Алексея.

— Пойдем-ка и мы за ними,— сказал Коротеев.— Послушаем, что и как. Пора бы кончить беспорядок.

Расталкивая стоящих в сенях партизан, Наталья вбежала в горницу. Сухов, держа в руке маузер, сидел у стола. Он, Алексей,— теперь Наталья точно знала, что это он,— стоял в двух шагах от Сухова.

— Я, товарищи, ефрейтор Н-ского кавполка, Алексей Овчаренко,— заговорил си непридуманно.— Был ранен летом под Витебском, скрывался в колхозах. Как маленько на ноги встал, решил двигаться к фронту, к частям Красной Армии. Много я видел, много запом-

нил, это должно пригодиться. Долго я шел. Выбирал места знакомые, через которые наш полк проходил в свое время. Я и в ваших местах в начале войны был, полк наш тогда стоял здесь лагерем, за рекою.

Сухов встал, стукнул по столу револьвером и быстрым, воровским взглядом оглядел безрукого.

— Кого тут знаешь? — спросил он.

Безрукий улыбнулся.

— Многих знал, да ведь немало времени с тех пор прошло, и позабыть могли.

— Говори, кого знаешь! Если не опознает никто — убью!

— Э-э, зря ты меня смертью пугаешь...

Наталья выбежала вперед, к столу.

— Я, — сказала она, приложив руки к груди. — Я! Я его знаю.

Алексей и все, кто были в горнице, повернулись к ней.

— Веселое дело, — сказал, усмехаясь, Сухов. — Это-то и есть твой суженый?.. Ты что же — к ней шел или часть свою искал?

Алексей лишь на мгновение взглянул на Наталью.

— Теперь ты, Сухов, знаешь, кто я, — сдерживая злость, сказал он. — Теперь твоя очередь. Знакомиться — так знакомиться...

— Нет, уж извините, теперь моя очередь, —

и Коротеев в своей зеленой немецкой шинели бочком пробрался к столу.

— Это, знаете, ни на что не похоже, товарищи,— словно председательствуя на шумном, недисциплинированном собрании, начал он раздраженно.— Я член бюро райкома. Пришел к вам из города для связи. Коростелев погиб, Ситников тоже. Кого вы послали к нам с докладом? Судя по всему, никого. Кто вам разрешил уходить за фронт? В каком таком штабе вам это сказали, Сухов? Доложите-ка нам немедленно. С кем персонально вы говорили?

— Буду я каждому рассказывать...— с напускной небрежностью отмахнулся Сухов и сказал партизанам, толпящимся у входа в горницу: — А ну, освободите помещение!.. Штабной разговор, а вы тут уши поразвесили. Я и без вас управлюсь.

Он нервничал, видно, не зная, что предпринять и как вести себя.

Наталья робко приблизилась к Алексею.

— Родной ты мой, счастье ты мое бедное...

— погоди, Наташа,— как бы даже небрежно, вскользь ответил он, отстраняя ее от себя.

А Сухов был уже рядом с ними.

— Кому я сказал? Ну? Очистить помещение.

Алексей заслонил собою Наталью, сказал ей, не оборачиваясь:

— Выйди, Наташа.

Но сам остался, и Сухов, помедлив, не повторил ему своего приказа.

— У нас такой был порядок,— сказал он Коротееву,— брали мы в отряд только тех, кого лично знаем. Измены боялись. А как разбили нас и погиб Коростелев, общее мнение было — уйти отсюда, переформироваться, получить нового командира...

— Да нет, погодите, Сухов, постойте... Вы ответьте на мой вопрос: у кого вы были, с кем именно говорили...

— Что я вам буду штабные дела рассказывать! Не знаю я вас! Вот отведу в штаб — выясним!

— Погоди, Аркадий,— вступился Чупров.— Если ты не знаешь кого, так я знаю.

Громкие крики на поляне заставили его замолчать и прислушаться.

— Кстати,— сказал Коротеев,— беспорядок у вас невероятный. Никакого охранения, никаких дозоров. Костры горят, как на ярмарке. Пойдите-ка, Чупров, приведите все в норму.

— Тут Чупрову нечего делать,— Сухов застегнул полушубок и, словно беря на себя полную ответственность за беспорядок, решительным шагом вышел из горницы.

Чупров и безрукий Алексей Овчаренко бросились следом за Суховым.

Крики на поляне разрастались. Прислушиваясь к ним, Коротеев что-то набросал на газете, покрывавшей стол.

За сторожкой послышался топот коня.

Раздался выстрел. За ним — второй.

— Поразительный беспорядок! — произнес Коротеев с несдерживаемой злостью. — Стихия какая-то, чорт ее возьми! — и, бросив на стол отгрызок карандаша, стал искать шапку, чтобы выйти и самому разобраться, что происходит.

Тяжелые шаги нескольких человек раздались в сенях. Медленно, рывками приоткрылась дверь. Четверо внесли раненого.

— Кто это? — спросил Коротеев, но тут же увидел бледное лицо Алексея Овчаренко, и то, что могло произойти на поляне, сразу промчалось в его сознании.

— А Сухов?

— Драпу дал Сухов, — сказал один из четверых. — Мы и внимания на него не обратили. Обступили Петра Семеныча, кричим «ура», а Сухов прыг на коня да в лес. Парнишка-то этот один сообразил, схватился было за узду, а Сухов сразу всадил в него две штуки — и Ванькой звали.

Всхлипывающая Наталья, дрожа, зажигала фитилек, плавающий в масле. Дверь в сени

была настезь распахнута, холод волнами валил в горницу, колебля робкий свет.

В дверях показалась фигура лесника.

Алексея уже раздели, и Груня Чупрова, племянница Федора, вполголоса покрикивая на раненого и веля ему то помолчать, то повернуться, торопливо накладывала повязку.

— Ничего, Наташа, ничего, — сказала она Наталье, — жив будет, мясо только всего пробило, кость целая...

— Мне только одно сердце оставьте, я и то выживу, — сказал раненый, медленно улыбаясь.

— Он тебя убить мог, — сказала Наталья, садясь у изголовья. — Он сразу догадался, что это ты, что из-за тебя я ему отказывала... Ну, только б ты выздоровел, все хорошо будет. Увезу тебя в спокойное место. Я при тебе, как травинка при земле, Алеша, — и она опять заплакала и, не утирая слез, поглядела на него счастливо и тревожно.

Алексей взял ее руку в свою, грязную, твердую, напоминающую рассохшийся кусок коры.

— Одно сердце на двоих да за нам жизнь, — сказал он. — Жить врозь — пол-сердца мало. только вместе можем мы.

— Только вместе, Алеша. Вот оправившись немного, увезу я тебя в спокойное место, вы-

хожу тебя, и опять ты будешь у меня сильным, веселым.

— Самое спокойное место там, где душа спокойна, — сказал Алексей. — Я ведь не думал, что тебя разыщу. Так, иногда, мелькало — а вдруг она здесь? Может, думал я тогда, помочь ей чем надо? А когда узнал, что собирают народ в коротостелевский отряд, я сразу вызвался и обо всем забыл, и о тебе забыл, родная...

— Воевать тебе сейчас трудно, Алеша, — руки нет и нога в двух местах ранена, а партизанское дело знаешь какое!.. Нет, Алеша, и думать тебе нечего тут оставаться, только обузой будешь. Ты наши места, я помню. никогда не любил, все тебе было холодно здесь да сыро...

— Мало ли что раньше было, Наташа! А сейчас нет в моей душе ничего, кроме злости к немцам. Сплю и то во сне вижу, как их уничтожаю.

— Да я ведь... — не договорив, Наталья взмахнула рукой и быстро вышла из горницы.

Невский, шептавшийся за столом с Коротевым и Чупровым, поднял голову и внимательным взглядом проводил дочь.

— Значит, тебя Алексеем Овчаренко звать? — немного погодя спросил он раненого. — Так. Молодцом, говорят вот, держался

ты с Суховым, молодцом. Жаль, что ранило. Нам бы ты сильно пригодился, — развитой человек, военный, да что сейчас с тобой делать? Докторов у нас нет, больницы далеко.

— Да уж как-нибудь, — кротко ответил Алексей.

— Может, и вправду тебя переправить на время за фронт? — спросил Коротеев. — Подлечишься, окрепнешь... как думаешь?

— А я бы так сказал: оставили бы вы меня в покое, дорогие товарищи, может, оно самое лучшее.

— И то дело, — сказал Невский. Он встал, и громоздкая тень от него легла на половицу горницы. — Значит, ты, Федор, с утра поднимай свой народ и уводи на шестую дистанцию. Никита Васильевич погворит с новыми, отберем им хорошего командира и отправим вслед за тобой. Штаб я оборудую в малой сторожке, километрах в восьми отсюда... там и основной склад будет.

— Вот я у тебя, начальник, и буду бессменным дежурным при штабе, — сказал Алексей.

— А что ж? Пока лежишь — никуда не сбежишь, и то верно, — спокойно ответил лесник.

Скрипнула дверь, вошла Наталья.

— Бери сани, перевози раненого в малую

сторожку, — сказал ей отец. — Павел там, что ли?

— Здесь был, — ответил Чупров. — Все возле Сухова терся, озорник.

— Так. А сейчас он где?

Никто не ответил.

— Если в малой сторожке застанешь его, Наталья, вели без меня шагу не делать!

Как только Павел увидел отца, он сразу понял, что настала минута, решающая судьбу всей жизни. Узнав, что отец был в штабе, и сразу догадавшись, что Сухов там конечно не был, Павел окончательно растерялся и убежал в лес. Выстрелы прозвучали за его спиной, и он легонько всхлипнул, ожидая пули в спину.

Он не знал, зарыться ли ему в сугроб, спрятаться ли в ельник, или уходить, куда ведут глаза. Но глаза его никуда не вели, в сугроб зарываться было долго, и он присел под ель, наблюдая за поляной. Сухов уже скакал на коне в лес.

— Аркаша, друг! — закричал Павел. — Аркашенька, дорогой, что ж ты, крест тебя накрест!..

Аркашка махнул ему: дескать, дальше где-нибудь — и скрылся из виду.

Павел побежал по его следам. Ему надо было что-то выяснить у Сухова, но сейчас, зады-

хаясь от усталости и волнения, он не мог даже сообразить, что, собственно, ему надо. Да, что же выяснить? Он остановился перевести дух.

«Сухов — подлец, снюхался с немцами, надо об этом сказать отцу, — думал Павел. — Надо все рассказать отцу о Сухове, и о Бочарове, и... о себе тоже». И как только понял он, что следует открыться перед отцом и признаться, что и сам он, Павел, был рядом с изменой, с предательством, что о многом умолчал он, передавая о гибели Большакова, не упомянул ни разу о встрече Сухова с Бочаровым, то есть, что был он тайным пособником их, как страх овладевал им до дрожи, до обморока, и он чувствовал, что быть правдивым у него нет сил.

«Никуда я не пойду, никуда — ни к отцу, ни к Аркашке, — думал он. — Вот лягу в снег и замерзну, ну их всех к чорту!»

Было ему сейчас стыдно за свое увлечение Суховым, и было страшно показаться на глаза отцу. И он на самом деле был готов замерзнуть, только бы не отвечать ни перед кем.

Он присел на поваленную ветром сосну, задумавшись, задремал. «Может быть, так и замерзну», — подумал с надеждой. Но когда мороз пробрал его до костей, он зевнул и, перестав думать о том, что предстоит, побрел домой.

На большой поляне он уже никого не застал. Пусто было и в малой сторожке, где жили они с Натальей. Тогда, по наитию, двинулся он к барачу лесорубов, в котором не жил никто лет пять, и нашел здесь Наталью, Груню Чупрову и раненого Алексея Овчаренко.

Отец еще не являлся. Видно, размещал партизан. А Наталья с Груней были так заняты, что едва обратили на него внимание. Они вскрывали ящики и подпарывали кули и раскладывали муку к муже, консервы к консервам, то и дело влетая в барак и крича Алексею:

— Заметь себе, три ящика консервов.

Алексей ставил угольком на бревенчатой стене палочку.

— Что стоишь, как овца? Помог бы, — крикнула наконец Павлу Груня.

И через минуту Павел уже бегал со двора в барак и кричал Алексею:

— Три — консервы, два — вино, три — мука.

Так, не разгибая спин, проработали до вечера. Вечером Груня Чупрова сделала раненому перевязку.

— Сухов-то твой оказался изменник, — словоохотливо сказала она Павлу. — Казнить его надо...

Павел промолчал. Наталья положила перед ним ломоть хлеба, кусок солонины, сказала:

— Отсюда чтоб никуда не уходил. С утра ямы рыть будем.

— Ладно.

— Уйдешь — убью.

Он поглядел на нее, удивленный. Сестра глядела на него по-отцовски жестко, немилосердно, губы ее были плотно сжаты.

— Ошибся я, Наташа, ошибся, я уж сам знаю, — пробормотал он, вставая чтобы сбросить с себя ее безжалостный и презрительный взгляд.

В ту ночь он не спал, поджидая отца, но лесник так и не явился. Под утро мальчик-разведчик прибежал сказать, чтобы не ожидали и завтра.

— Одно дельце надо ему обстряпать, — повзрослому объяснил мальчуган.

— Какое дельце? — неосторожно, просто из любопытства, спросил его Павел.

Мальчик подмигнул ему — знаем, мол, вас.

— Клятва дадена, — восторженно произнес он. — Всем отрядом клятву давали и потом по отдельности. Я тоже расписался, — сказал он с нескрываемым уважением к самому себе, степенно попрощался и, опять повторяя кого-то взрослого, вымолвил, уходя: — Благослови, метелица, с немцем не канителиться.

Дело, о котором намекнул мальчик, не было намечено в плане Коротеева. Идею его привез

Невский. Это была месть за учителя Ползикова и двух убитых Штарком ребяташек. Ее подхватили сразу и, чтобы не терять времени, решили не откладывать надолго. Коротеев тут же сел за плакаты на немецком языке: «Казнен за зверства над детьми в санатории», «Казнен за убийство учителя Ползикова».

Некоторые просили себе два или три плаката, а Чупров взял десяток. Коротеев аккуратно записывал в блокнот, сколько кому выдано. Многие тут же сделали заявку на следующие дела — на мщение за трех казненных старушек, за оскверненную церковь, за других замученных ребят. Коротеев аккуратно записал все предложения, и отряд, разбившись на шесть маленьких групп, отправился на операцию. Федорченков с молодыми партизанами — к дороге, что проходила лесом, Буряев — к ближайшей деревне, а Невский с Коротеевым — к штабу карательного отряда.

С той страшной, похожей на бред умирающего, ночи, когда — темная — она вдруг вспыхнула пламенем смертельного пожара, когда затрещал дом и мыши засуетились за обоями, на потолке, под полами, выгрызая себе выходы из жилья, когда колокол в церкви за прудом вдруг загудел могучим набатом, когда фигура высокого окровавленного человека с

мертвым ребенком в руках прошла по огненно-оранжевому снегу парка, когда выбежал Вегенер на скользкий лед пруда и побежал, слыша за собой крики этого несчастного Штарка, когда в беспмятстве дополз он до этого проклятого Боچارова — казалось, все кончено. С той ночи Вегенер жил только при свете. Едва спускалась темнота, он запирался в избе и даже за нуждой не ходил дальше сени. Впрочем, и в эту минуту его стерег кто-нибудь — то ли мать Боچارова, то ли сам Дмитрий.

Так и сейчас, когда ночь разверзлась, как бездна, он не знал, что ему делать.

Слава победителя Коростелева уже забывалась.

Необходим был новый успех. И тогда — отпуск. Только тогда. Ночь была неисчерпаемой глубины. Вегенер вызвал адьютанта.

— Ракеты! — сказал ему, кутаясь в белый шелковый платок. — Пусть будет светло! Все время! Одна за другой! Мне нужен день.

Скоро за окном затрещало и посветлело. Вегенер успокоился. Конечно, покойный Штарк был прав — кровь надо проливать неустанно. Наверно, это здорово укрепляет волю. С завтрашнего утра он начнет...

То, что делал этот Невский, было поистине

невыносимо и требовало решительных ответных ударов.

Но все, что ни затевал Вегенер, наталкивалось на умное сопротивление, на суровый отпор. Судя по данным Бочарова, — а они были, конечно, отрывисты и случайны, — Невский расчленил свой огромный отряд на крохотные ячейки.

У него были «мостовики» — они специально следили за тем, чтобы не был восстановлен ни один мост.

Были «связисты» — они снимали по пять километров проводов в день.

Были «ораторы» снайперы — они специально посещали сельские сходы, на которых присутствовали немецкие представители, и выступали там с «речами» из автомата.

Были, наконец, «мстители-одиночки», неуловимые, неуязвимые агенты, огромной осведомленности и страшного упорства.

Агитаторы Невского проникали в каждый дом. Его листовки Вегенер находил у порога своей избы. Его плакаты «Верни награбленное, иначе смерть!» пестрели на всех дорогах.

За убийство Штарком двух ребят в санатории Невский перебил более трех десятков солдат, не считая тех, что погибли при пожаре самого санатория.

Вегенер бежал тогда в другое село. Спустя сутки дома опустели, пошли пожары. Он перебрался на хутор за маленьким озером. Стало спокойнее, но точно в блокаде. Ни один немец не мог безопасно проникнуть на хутор или уйти из него.

За учителя Ползикова пало двенадцать немцев.

Вегенер, с трудом пересиливая себя, обосновался в селе Любавине, стоящем на оживленном шоссе. Здесь было бы совершенно отлично, если бы не так далеко от Невского. Но будь Вегенер и поближе, что он мог сделать?

Что можно предпринять против темноты, которая подстерегает любой твой шаг, против света, который выдает любое твоё намерение, против морозов, которые грызут твои руки и ноги, против пожаров, которые возникают внезапно, точно зажжены какой-то сверхъестественной силой?

Солдаты, перестававшие грабить, все равно умирали от холода, от истощения. Солдаты, уставшие убивать, все равно погибали в мщенье за прошлое.

Но те, которые и грабили и убивали, те тоже не выигрывали — те тоже погибали, как все...

По воскресеньям приходилось держать весь отряд под ружьем и в полном сборе, ибо каж-

дый осел в отряде знал наизусть плакат: «В плен беру только по воскресеньям».

Но было ли легче действовать во вторник или в четверг? Боже мой, конечно, нет. Во вторник или среду где-нибудь на оживленном перекрестке уже висел новый плакат.

В нем перечислялись фамилии десяти или пятнадцати лучших унтер-офицеров с предупреждением: «Вы будете первыми казнены за совершенные злодеяния...» В этот день ни на одного из перечисленных нельзя было рассчитывать.

За окном раздался окрик часового и русские голоса в ответ. Вошел адъютант.

— Прибыл Бочаров с одним партизаном от Невского.

— Светло? — спросил Вегенер.

— Как в Луно-парке, капитан.

— Пусть войдут.

Сняв шапки и поклонившись, Бочаров и Сухов стали у дверей, позади переводчика.

— Что принесли?

Бочаров откашлялся.

— Вот Сухов бежал из отряда Невского. Он там разложение обещает сделать, он может.

— Как ты можешь разложить отряд Невского? — спросил Вегенер.

— Надо будет узнать, где их провиантские

базы, да и накрыть их. Без хлеба не выдержат. Факт! И разойдутся, кто куда.

Он начал было подробно объяснять свой план, но Вегенер уже не слушал его — взглядев его затуманился какой-то отвлеченной мыслью. Не мигая, глядел он в промерзшее окно, за которым полыхали шумные взрывы ракет.

— Пусть уйдут,— сказал он после долгого молчания.— Я не могу видеть русских.

Переводчик жестом, без слов показал Бочарову и Сухову, чтобы они покинули комнату. Вышли во двор.

— Спать в сарае,— сказал переводчик.— В дом капитана не смеет входить.

— Поесть бы, господин переводчик,— робко попросил Бочаров, стоя без шапки во дворе собственного дома.

— Это ваше дело,— сказал переводчик.

Шопотом они обменялись мнениями, не заходя в сарай.

— Что, все они такие? — спросил Сухов.— Это ж псих форменный.

— Да он ничего, добрый. Это он так, блажит только. Ты ему ругай себя, он все простит.

— Да чего мне себя ругать-то? — сказал Сухов.— Я к нему имею дело, а он ко мне.

— Немцы любят, чтобы их величали, — подобострастно сказал Бочаров.

— Не так что-то мы с тобой сыграли, — сказал Сухов. — Я ведь что думал? Я думал, немец — хозяин, порядок.

— Н-ну! Нашел, куда за порядком ходить, — рассмеялся Бочаров. — Жить надо по-своему. Что нам немцы? Ты о себе думай. Свой курс держи.

— Какой тут курс! Такого ж психа и обмануть нельзя. Ты ему одно, он — другое. Да и с Невским теперь не знаю, как быть. На Паньку я рассчитывал.

— Его достанем. Это что! Он парень слабый — возьмем от него, что надо.

— Да, без Павла не обойтись, — сказал Сухов и спросил с любопытством: — А что, всю ночь ракеты будут кидать?

— «Свет, — гсворит, — люблю». Беспокойный, сволочь! Ну, да привыкнешь, ничего. Ракета не бомба, здоровью не вредит... Ну, пошли спать. Утром подумаем. Поработать придется нам здорово.

Ощупью пробрались к селу, закопались в него и быстро заснули.

6 ноября, в канун октябрьских праздников, отряд Петра Семеновича Невского устраивал-

ся в заброшенных бараках торфяников, километрах в тридцати пяти от прежней базы.

Были октябрьские праздники, самые торжественные на советской земле, и где бы ни был, как бы далеко от родины ни находился советский человек, в эти дни видел он себя в Москве, вблизи Сталина. Не хотел Невский менять порядка, утвержденного жизнью, и созвал весь отряд.

Партизаны разожгли печи в землянках, набрали на огородах мерзлой картошки, поставили на огонь чайники с желтой болотной водой.

— И заваривать не надо, — шутили они, — сама с заваркой.

Петр Семенович устроился в большом бараке и, когда люди вымылись и прогрелись, собрал их к себе.

— По землянкам разобьемся — ночью не докричишься. А до сна отпразднуем светлый день, поговорим по душам.

...В тот самый час Сталин начинал свою речь в Москве. Сирены будили темную столицу сигналами воздушных тревог, в воздухе рвались снаряды зениток, ржотали вражьи моторы, но сквозь опасность ночи шли и ехали люди к тому месту, где в свете люстр, в строгом мерцании стальных и мраморных колонн, окруженный учениками, соратниками

и друзьями десятилетних битв, кровавых трудных, но всегда победоносных, стоял у трибуны Сталина. Он похудел за время войны, но это молодило его. Он словно возвращался к годам гражданской войны, сбросив с плеч бремя прошедших с той поры лет.

Много бед пережила страна, много земель ее стонало под немецкой пятою. Судьбы родины ночь и день тревожили сознание всех, держа его в крайнем напряжении. Но Сталин был спокоен и тверд не только внешне. А от спокойной фигуры его, от медленных движений руки, от улыбки, просто и красиво освещавшей его похудевшее, но бодрое лицо, исходила сила.

В тот час шла эта сила по всей стране, по всем сердцам, зовя их, вдохновляя и предвещающая победу.

Сквозь снежный вихрь проникал его голос в дымящиеся тучами кавказские ущелья. Бросив бурку на мокрую спину коня, всадник на носках, словно танцуя, входил в саклю и замирал на ее пороге, прикованный голосом из Москвы. Сквозь шум ледяной волны моряк в рубке подводной лодки, улыбаясь, закрывал глаза, вбирая в себя железную волю голоса из Москвы. Сквозь грохот близкой битвы, в маленьком русском городке, обуглившемся от пожара, мальчиш шептал израненной матери:

— Мамочка, тише!.. Сталин же говорит!.. Не стони, милая мама! Мы не услышим!..

В тот день, суровый, полный тяжелых испытаний, принесший много неудач в боях, один лишь сталинский голос торжествовал, предвозвещая победу.

На севере было уже темно, но бои шли, не ослабевая, и в темноте. Раненых находили ощупью.

Снег запорашивал тропы, проваливался в темные блиндажи, снег набивался в валенки и рукава.

Мети, метель! Поднимай, разноси по стране сталинский голос! Пой сердца спасительной надеждой, зови на бой Россию!

И только в дремучих ильменьских лесах не слышали в ту ночь Сталина.

— Доклад мой не длинный,— сказал Петр Семенович, когда собрались. — Во-первых, с праздником вас! Не простой день отмечаем, а первый советский день на нашей земле вспоминаем... А во-вторых, желаю всем нам окорей победы добиться. У немца каска стальная, да душа больная. Мы его побьем, это точно. Но обязаны крепко бить, чтобы отдыха не знала рука. Клятву дадим — до последнего биться. Вторую клятву дадим — из родных мест шагу не делать. Кто я? Простой лесник. Пятьдесят шестой год пошел мне. Ни-

чего не видал я в жизни и образования не имею, весь свой век в лесу просидел. А пришла война, глаза на жизнь открыла. Вижу ее, как на ладони. Вот она, красавица, вся передо мной. Власти мне большой не дадено, а, сознаюсь вам, стал как командир на жизнь глядеть. Вижу — тут давно б надо лесопильный поставить, а там больнице место, в ином месте рыболовецкий стан открыть или дорогу расширить... И невтерпеж мне за это взяться, руки чешутся потрудиться в свое удовольствие. Кончим войну, за все сразу возьмемся. Разве так будем жить, как жили? Во сто раз веселей! Часу лишнего не проспим, душа умней стала, душа хозяйкой стала... А третья клятва у нас с вами такой должна быть... Немец — враг, а свой изменник — втройне. Этим пощады нет, кто бы ни был. Коротеев Никита Васильевич разузнал, что наш Сухов с Бочаровым у немцев при штабе. Никто из нашего района иудой не стал, кроме этих двух, так надо сжить их со свету. С Суховым — моя вина. Я упустил из рук. Обещаю казнить обоих. Пусть теперь каждый, кто хочет, выскажется от чистого сердца.

С волнением слушал Алексей речь Невского. Приподнявшись на лавке, не отрываясь глядел он на говорившего. Губы его шевелились. На бледных, ввалившихся щеках про-

ступали пятна яркого румянца. Теперь, когда он сбрил бороду, лицо его казалось юношеским, почти мальчишеским. Худоба придавала чертам его лица светлую вдохновенность.

— Мне уже не рубить немца, но горжусь—рубил,— сказал он.— И правда—для этого только и жить сейчас. Не будет тому счастья, кто стоит в стороне. Проклята будет жизнь того. Товарищи отвернутся от него, родные откажутся, жена перестанет рожать детей ему, честного имени лишится он! Большую правду сказал ты, товарищ Невский.

Сухой кашель остановил речь Алексея. Он хотел сказать что-то еще, но уже не мог и только махнул рукой.

Коротеев наклонился к Невскому.

— Придется его отправлять. Иначе погубим парня.

Глядя, как Наталья бережно укрывает Алексея, Невский ответил:

— Отправлю их при первой возможности.

— Ну, а теперь споем, повеселимся,— сказал Петр Семенович.— Наталья выдаст нам кое-чего к празднику. Сходи, дочка, принеси поесть, попить.

— Сегодня бы отлично выпить по стопочке, по другой,— поддержал Коротеев,— я и вкус-то ее, проклятой, забыл.

— Стопочки — это у вас в городе, — ответил ему Миша Буряев, новгородец. — У нас на четвертинки счет поставлен. И название военное: не четвертинка, а запальник, не половинка, а фугасник.

— Вот мне бы фугасника и хватило, — засмеялся Коротеев.

— Верно ли говорят, Никита, что ты поешь хорошо? — неожиданно спросил Коротеева Невский.

— Я? Как же! Бас-баритон. А чего это ты?

— Да вот как раз к празднику твоя специальность. Спел бы нам, а?

— Ни с того, ни с сего? — развел тот руками.

— Как ни с того, ни с сего? Мы тебя просим. Вот это и есть причина. А во-вторых, праздник!

— Ну, если так... — рассмеялся Коротеев, — тогда опю, конечно... Да не знаю, сумею ли натошак?

— Пой, пой! Может, тебя, друг, и кормить не за что.

— Не знаю, поет ли, а человек хороший, — заметил Чупров.

Коротеев встал, прислонился спиной к нарам, пожевал губами.

— Я шел к вам в лес, и казался он мне мертвым, безжизненным... А на самом деле

такой бурной и яркой жизни, как сейчас, ни когда и не знал он... Твердый народ мы. Об этом я и спою.

И, вздохнув, он начал песню.

О скалы грозные дробятся с ревом волны
И с белой пеною, крутятся, бегут назад,
Но твердо серые утесы
Выносят волн напор,
Над морем стоя... —

запел он сильным, но запущенным, давно не тренированным и однако глубоким, искренним голосом.

Пел он арию варяжского гостя из «Садко», самое сильное, что когда-либо было написано для баса, сильное, торжественно-величавое, о духовной мощи севера. Слова и мелодия слиты были в прекрасном единстве. Он пел эту арию, как собственное признание, как исповедь.

От скал тех каменных у нас, варягов, кости;
От той волны морской в нас кровь-руда пошла,
А мысли тайны — от туманов.
Мы в море родились,
Умрем на море.
Мечи булатны, стрелы остры у варягов.
Наносят смерть они без промаха врагу.
Отважны люди стран полных,
Велик их один бог —
Угрюмо море.

Партизаны слушали его, не дыша.

— Бас! Крепкий бас! — сказал Невский, когда Коротеев закончил.

Но тот только махнул рукой — не мешайте! Теперь запел он старую песню на слова Языкова, которую певал когда-то в юности, в начале жизни, молодой, честолюбивый, мечтавший о громкой славе.

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно...

Он пел и сам дрожал от упрямой силы слов и мелодии. И опять не чужою песней, а собственной речью звучало пение, словно не пел, а ораторствовал он, поднимая людей на борьбу, словно не певцом был он и даже не поэтом, сочинившим удивительные слова эти, а полководцем, который ведет сейчас людей на смерть.

Он замолчал — и никто не хлопнул в ладоши, никто не произнес ни звука.

Одна Наталья (она уже вернулась и застала половину песни) нашла, что сделать — вышла с подносом на середину горницы и на подносе подала Коротееву кружку трофейного вина.

Молча, едва живнув, вынул он кружку залпом.

— Вот это и есть ваш запальничек? —

спросил добродушно. — Детская посуда какая-то.

И медленно, важно, чувствуя, что все глядят на него с уважением, достойно выпил вторую.

Тут уж все засмеялись.

— Артист! Вылитый артист!.. Что спеть, что выпить — кругом хозяин.

Наталья быстро и ловко расставила бутылки и раскладывала на дощечках ломтики солины.

— Пусть будет этот день всем нам на радость, на счастье, — сказал Петр Семенович и, когда проходила Наталья, попридержал ее за руку.

— Собирайся в дорогу, дочка, — шепнул ей. — Алексея повезешь в штаб, лечить надо.

— Уж такой несговорчивый он стал, своевольный, — ответила она тихо.

— А ты ласковым словом возьми, уговором.

Быстро расставив еду, Наталья подошла к Алексею. Глаза его были закрыты, но она чувствовала, что он не спит.

— Алеша, можно с тобой поговорить?

Он открыл глаза, улыбнулся.

— Я было загадал: если до ста досчитаю, а ты не подойдешь, значит плохо мое дело. Не успел до сорока досчитать — ты рядом.

— Алеша, отец велит везти тебя в штаб,— одним духом вымолвила Наталья.

Алексей покачал головой.

— Если обуза я — так зачем людьми рисковать, вывозить меня? Нога поправится, кашель пройдет, тогда и поговорим. Сам уйду, если увижу, что лишний.

— Да ведь вернешься,— робко настаивала Наталья.— Вылечат тебя, и вернемся мы. И будешь здоровый.

— Не время со мной возиться...

Партизаны затянули хорovou, говорить тихо стало трудно.

— Сядь-ка, Наташа, послушаем песню.

— Это все, что ты скажешь?

— Все, родная. Садись, послушаем, как поют.

Шел к концу декабрь 1941 года.

Партизаны Невского заканчивали год победами. Немец засел в деревнях, в тепле, и выгонять его на мороз стало трудней, но у партизан был уже накоплен опыт. Бесстрашно штурмовали они занятые немцами села, перехватывали обозы, уничтожали связь. И волею-неволею вылезал за ними немец из теплых изб, и кружился по глубоким снегам, в тщетных попытках разыскать Невского.

Было у лесника теперь семь отрядов, и действовали они всегда порознь, в разных местах.

Только сожжет Чупров немецкие склады в Ольгинском, как в тот же день Коротеев, верстах в двадцати от Ольгинского, атакует колонну на шоссе, а сам Невский в третьем месте перехватит связистов.

Неуловимость Невского стала легендой. За голову его обещали немцы большую награду.

Однажды одел он своих партизан в красноармейскую форму, окружил конвоем во главе с Коротеевым, что до сих пор ходил в немецкой шинели, и повел в город.

Встречные немцы спрашивали:

— Кого ведут?

— Пленных. На работы,— отвечал Коротеев.

— Хорошо. Ты кто, чех?

— Чех,— покорно отвечал Коротеев.

— Вот вам и славяне. Свои своих сторожат. Следуйте!

Вошли в город к вечеру, в темноте добрались до комендатуры, ворвались внутрь, освободили три десятка арестованных жителей да больше сотни пленных красноармейцев, перебили дежурный немецкий взвод, пристрелили самого коменданта и ушли, захватив два пулемета.

В другой раз Коротеев затеял «строить

мост». Человек тридцать партизан вместе с колхозниками разобрали среди бела дня хороший мост в три пролета и стали невдалеке возводить новый. За день у разобранного моста создалась «пробка» подвод и саней. Как стемнело, партизаны отложили топоры, вынули автоматы и, оставив на месте больше полусотни немцев, спокойно ушли в лес.

Был случай, когда Миша Буряев напал на железнодорожный полустанок и держал его за собой больше суток. А уходя, велел закопать в снег пустые бутылки и плевательницы из киоска, делая вид, что минирует окрестность. Потом рота немецких снайперов добрые сутки откапывала эти плевательницы, и движение по дороге было приостановлено.

«Одиночки» во главе с Федорченковым тоже делали чудеса. Бывало, по десять часов лежали они в снегу, выжидая у дороги немца, и не было случая, чтобы уходил он от них живым.

Капитана Вегенера убрали, на смену ему прибыл новый, из прибалтийских немцев, знающий русский язык, некто фон-Каульбарс. Этот стал целиком сжигать деревни, заподозренные в симпатиях к Невскому. Тогда население нескольких деревень ушло в леса, забрав с собой все оконные рамы и двери и развалив печи. Каульбарс мгновенно изменил

тактику и перестал трогать население. Он пытался устраивать в селах какие-то ярмарки, принимал «заказы» на сепараторы и обещал даже кино тем селам, где будет порядок.

Но возбуждение народа уже перевалило за уровень, который может быть назван спокойным. Все живое сражалось с немцами. Кто мог, уходил к Невскому, кто оставался дома, выживал немца морозами, огнем, топором. Три женщины, три старухи, были пойманы и казнены за то, что отравили семерых немцев, стоявших на постое. В другой раз прибежал к Невскому мальчик и принес офицерскую сумку с картами и документами.

Все поднялось и воевало изо дня в день. Хлопотливо собирал и накапливал Невский оружие. Знал — наступит день, когда стеною встанет народ на немца.

В декабре он как раз и получил известие, что в Любавино, где стоял штаб карательного отряда, прибыл транспорт с оружием, и решил во что бы то ни стало отбить его.

Но тут случилась беда. Немцы открыли две его основных провиантских глубинки и две ямы с боеприпасами. Отряд оказался в бедственном положении.

Впервые растерялся Петр Семенович. Что делать? Коротеева, на несчастье, в отряде не было, уехал в совхоз под городом Х. Чупров

дрался под селом Егоровом. А медлить было нельзя.

«Тут не без Сухова дело», — думал Невский, не видя никакого выхода из положения.

Но всегда в минуты отчаяния и безвыходности встает перед человеком путеводная звезда — чей-то живой пример, чье-то горячее слово, чей-то огненный призыв — и вся жизнь устремляется к этой звезде и слепо идет к ней, пока не вырвется из беды.

Так и сейчас вдруг встали в мозгу слова Захарына: «Главное — никогда не терять перспективы! Кто потерял ее — тот пропал!»

И хоть лесник не очень точно представлял себе, что такое перспектива, но она была для него единственной надеждой, единственной верой и тем основным нерушимым законом действий, который определяет все направление, весь характер поступков.

«Перспектива — это то, что впереди», — думал Невский и понимал это в самом простом смысле слова. Впереди — значит, надо смотреть вперед. Значит, ни в коем случае не делать шагу назад, а — чем хуже и труднее — стремиться вперед и только вперед.

Он не знал, да и не догадывался, что перспектива означает политическую дальновидность и умение прозревать будущие события на основании анализа сегодняшних дел.

Он знал другую перспективу, перспективу глаза, когда с высокого кургана или с вер-хушки старой сосны открывался перед ним широкий вид. Это и была перспектива. И ле-жала она впереди.

Быстро увел он свой отряд вперед, то есть глубоко в тыл к немцам. Пока его искали в лесу, он объявился на большом тракте.

Алексея еще нельзя было перевозить за линию фронта, потому что раны на ноге, об-щее истощение, а главное — невыносимый кашель держали его в постели, но Наталья начала готовиться к отъезду с такой нервной поспешностью, точно должна была уехать не позднее, чем через час.

— Ах ты, грех мой! — бормотала она, но-сясь по пустой и гулкой комнате барака и что-то рассовывая в вещевые мешки, и что-то из них выбрасывая, и все время приставая к отцу, чтобы он освободил Груню Чупрову для приема всех сведений о зарытых боепри-пасах и продовольствии.

В этой суете как-то вышло, что Павел бы-вал ей необходим больше всех. Отец с Коротеевым решили, что он отправится вместе с Натальей и Алексеем. Павел не скрывал, что доволен таким их решением, и как мог по-могал сестре в сборах.

Иногда случалось, что она поручала ему сходить на одну из известных ему баз и что-нибудь принести ей оттуда, иногда он помогал ей прятать новые трофеи. Нет, он теперь совершенно изменился и не думал о Сухове, раз он и без него достигал своей давней мечты — покинуть здешние леса.

Отъезд задерживался главным образом из-за Алексея, хотя отпросившаяся на несколько дней к тетке Груня тоже не появлялась в отряде.

Но вот кто-то передал, что она будет завтра к вечеру и что именно на тех лошадях, что привезут ее, и поедут Алексей, Наталья и Павел.

И вдруг все изменилось в какой-нибудь час. В десять часов утра, когда бодрствующий по ночам штаб отряда спал мертвым сном, прискакал связной из деревни Чупрова — она была соседней с полустанком. Дежурил Павел. Немедленно разбудили Петра Семеновича. Новость потрясла всех. С полустанка сообщили, что прибыл железнодорожный состав, пруженный пятнадцатью танками, что они уже выгружаются и, как удалось выяснить, сегодня же пойдут своим ходом по большому тракту к городу X. (то есть должны будут километров двенадцать пройти краем емельковского лесного участка). Связной передал так-

же, что проводниками колонны взяты несколько сельских старост и Бочаров с Суховым.

Разбудили Коротеева.

— Нельзя упустить такого случая, — сказал ему Невский, раскладывая на столе карту своего участка и надевая на нос очки, что было признаком его крайнего возбуждения. В спокойные дни он превосходно обходился и без очков.— Где Буряев?

— В засаде,— ответил Павел, вытягиваясь, как полагается.

— Коробейник?

— На линии. Сматывает с федорченковой группой провода на Ольгинское.

— Губарев?

— Несет охранение штаба.

Губарев был командиром-кадровиком, и ему поручил Невский обучение молодежи, что легче всего было вести в условиях довольно хорошо укрытой штабной базы.

— Федор где?

— Сено возит с группой.

— Погоди-ка, Семеныч, — сказал Коротеев.— Дай-ка мы нанесем на карту расположение наших групп. Значит, Буряев, примерно, здесь. Так? Коробейников где-нибудь в этой зоне. Так? Губарев здесь вот, а Чупров, надо полагать, не ближе вот этого пункта... Нет, ни

черта не получается... Как у меня душа не лежала отпускать его за этим проклятым сеном!

Отбив от немцев колхозных коней, Чупров по-хозяйски решил перевезти в лес и запасы сена. Не ездить же за ним по деревням. И возил его третьи сутки.

— Надо ехать на место, — поднялся Невский. — Павел, седлай коней... трех... Со мной поедешь.

— На какое место? — спросил Коротеев. — Мест, брат, много.

— Ближе всех к дороге Чупров. Свяжемся с ним, выедем на тракт, определимся... А ты, друг, — он пожал руку связному, — дуй обратно. Ежели будет возможность — сообщи: вышли, нет ли, куда идут...

Собрались в один миг.

— Наталья, поди сюда. Шепни, имеется у нас что-нибудь при дороге, за Косым лучом?

— Место открытое. Невозможно там ничего хранить.

— И близ Чупрова ничего?

— Близ дяди Федора ямка со спиртом, две бочки керосину, под мостом, под маленьким, — там вроде как немецкую могилу сделали, как ску положили... Скоро назад будешь?

— К вечеру управимся.

Выехав к тракту, к тому месту его, где у маленького моста, с «немецкой могилой» под ним, ответвлялась в лес проселочная дорога, Петр Семенович и Коротеев заметили чупровский обоз и остановили его. Послали за самим Чупровым, который был невдалеке.

— Что-нибудь надумал? — спросил командира Коротеев.

— Да нет, а приготовиться все-таки надо. Чупров прискакал на неоседланном коне.

— Я здесь! Готов к бою! — еще издали прокричал он.

Невский рассказал ему о танках. Помолчали.

— Народу с тобой много? — спросил Невский.

— Народу хватит. Бутылки с горючей смертью тоже при нас. А вот время, командир, не наше, — сказал Чупров, глядя в небо. — Полдень, не позже?

Коротеев взглянул на часы.

— Тринадцать десять.

— Время не наше, — повторил Чупров. — Это будет беда, если на танки средь бела дня полезем. Беда будет, командир... Стой! Тихо!.. Андрюша, взлезь-ка на сосну! — крикнул он кому-то из своих. — Или у меня в ушах гудит?..

— Есть. Идут, — раздался мальчишеский голос, сдавленный волнением.

— Петр Семенович, не выйдет. Дай-ка я свой обоз оттяну с тракта, — и Чупров, проваливаясь в снег, побежал к саням, что остановлены были Невским.

— Стой!

В Невском теперь появилось то точное, математическое вдохновение военного человека, когда знание незаметно для него самого превратилось в уменье.

— Федор, вали сено на тракт, рядами вали, живо!.. Никита, Павел, ройте могилку под мостом!

Еще никто не понимал, что должно произойти в результате приказа, но он был категоричен, и все бросились выполнять его, подчиненные воле командира и уже не думающие ни о чем другом, как только о точном выполнении приказа.

Десять возов сена, по два в ряд, пятью очередями уже лежали на дороге. Порожные сани выбирались обочинами на проселок.

— Не трогай сани! В ряд их, за сено! В три этажа! Живо!.. Тащи керосин! Федор! Командуй бутыльщиками!

Чупров, сваливший несколько возов сена, потный, задыхающийся, безмолвно, автоматически бросился за мост, к бутыльщикам. Картина того, что произойдет, была ему еще не ясна. Но когда, ладонью стерев пот с лица, он

перемахнул через мост, заметив какой-то одной клеточкой глаза, как волочат к дороге бочку с керосином, все задуманное Невским вдруг стало ему совершенно ясно и понятно.

— Здорово!— прохрипел он, ибо уже все понял и оценил и теперь уже не нуждался ни в какой команде, так как до конца представил себе операцию.

Но Коротеев ничего не видел из-под моста и был обеспокоен и несколько раз оглядывался на Петра Семеновича, застывшего за широкой елью с напластанным на ее ветвях, подобно белевской пастиле, снегом.

Однако, когда бочку выкатили наверх, к дороге, и открыли ее, он тоже сразу увидел, что произойдет, и тоже все понял.

— А время-то, время как?— крикнул он Чупрову.— Время-то не наше, Федор!

— Чорт с ним, со временем, азарт меня взял,— ответил тот, с головой укладывая своих людей в снег, среди мелкого, но довольно частого ельника.

Танки были уже близко.

Андрюша, тот, который первый увидел танки с сосны, сняв ушанку, стал зачерпывать ею керосин и кропить сено и сани. Павел и еще кто-то последовали его примеру. Невский подбежал к ним, крякнул, приподнял бочку и опрокинул ее на дорогу меж санями и сеном.

— Ступайте в лес! Коней уводите!— и дрожащими от напряжения руками зажег спичку. — Садись на коля, Андрей, эсви Губарева. Такой же заслон сделать верстах в трех подалее!.. А ты, Павел, за Мишей Буряевым! Мгновение помедлив, пламя, шипя, рванулось кверху, стеною встав поперек дороги.

— Сначала снайперы, бутылки потом! — крикнул Невский и, вынув гранату, лег в кювет за стеною огня.

Головной танк выскочил из-за поворота и остановился, вильнув на месте. Его пулемет застрочил по огню, юкраинам дороги и ближайшему лесу. Второй и третий прошли на тормозах юзом и встали поперек дороги. А дальше не видно было. Невский слегка поднял голову — Чупров молчал. Что ж, может, и правильно. Выдержать их.

Головной танк, низко нагнув свою пушку, выстрелил два раза вперед, норовя движением воздуха от снаряда сбить пламя. Сверкающие вихри сена взлетели в воздух.

«Эх, этот Федор, копуха, дьявол!»— и вместе с его мыслью заговорил ручной пулемет Чупрова, потом раздался взрыв гранаты подалее, торопливое токанье автоматов еще подалее, за поворотом.

Невский взглянул на небо. Был отвратитель-

но светлый день, устойчивый, прочный, обещающий медленный вечер.

«Много работы, много».

Он опять поднял голову. Головной танк методически посылал вперед снаряд за снарядом, и сено вносилось в воздух и развевалось по краям дороги, обнажая тонкую стену саней. И...

— Ты с ума сошел! — закричал он, угрожая и негодуя. — Ты с ума сошел, окаянный!.. — и, не укрываясь, побежал к Коротееву, который выкатил на дорогу вторую бочку и, морщась от грохота орудийных и пулеметных выстрелов, пытался зажечь ее и толкал ногой, чтоб она катилась на танк.

Невский одним рывком сдернул Коротеева с шоссе и поддал ногой бочку. Потом, уже изпод моста, бросил в нее гранату.

Танк вспыхнул, точно давно ждал этого случая.

Дым окутал обочины. И тогда заговорили и бутылщики, и снайперы Чупрова.

— Ну, слава тебе, началось, — отдуваясь, произнес Невский и взял в рот горстку снега. — А тебя, Никита, за такие дела пороть.

— За какие это?

-- За глупости.

— За какие глупости?

— Кто же это перед пулеметом бочки выкатывает?

— А ты?

— Что я?.. Я только рознял вас, тебя — сюда, а бочку — туда. Тебя рядом с керосином нельзя держать — больно горячий!

Огонь на танке крепчал, делался звучным.

— Вот оно — наше партизанское солнышко! — сказал, кивая на огонь, Невский.

...К вечеру, когда прибыл Губарев, с пятью танками было покончено, остальные, не пробившись вперед, отошли к полустанку.

— А что же Миша Буряев не прибыл? Ему что, приказ не в приказ? — спросил довольный днем, но обычно в таких случаях нарочито ворчливый Петр Семенович.

— Буряев только с засады вернулся, — ответил Губарев. — Чай пьет со своими, видно, не получил приказания.

— А Павел там?

— Да Павел же с тобой, Петр Семенович, уехал...

— Вот он где, Сухов, оказался. Пашку схватили, — тихо вымолвил Невский, бросая в снег рукавицы. — Парень-то ведь не смелый, беды бы нам не наделал!

Как только танки остановились у огненной преграды, Сухов выскочил из машины с запас-

ными частями, шедшей в середине колонны. Головной танк еще стрелял. Партизаны были не видны. Он и Бочаров лугом, по пояс в снегу, обогнули лесной уступчик у моста и вышли на проселок, усеянный охотками свежеспросыпанного сена.

— Кого-нибудь обязательно тут накроем, — сказал Сухов.

Бой с танками разгорался все яростнее, а на проселочной дороге было, тем не менее, пусто.

— Зря. Надо возвращаться, — шепнул Бочаров после того, как они бесцельно пролежали более часа.

В это время Павел верхом на лошади, выпряженной из саней, без седла, показался возле них. Они тут же схватили его.

— К нам, что ли, скакал? — спросил его Сухов, обыскивая. — Это, брат, мы примем во внимание.

— Чего с ним говорить, не в себе он еще, — пробурчал Бочаров.

— Почему не в себе? — удивился Сухов. — Слава богу, не чужие.

Разоружив и связав ему руки, Сухов с Бочаровым повели Павла к полустанку.

— Только не будь дураком, Панька, — сказал Сухов. — Можешь и себя выручить, и нас устроить. Хочешь, отпустим?

Павел молчал.

— Первое — скажи, где базы. Второе — где Наталья. Мой план такой: немцу базы откроем — и твоему отцу крышка, он — за фронт, мы — за ним; Наталья — моя. Что ж, он против зятя пойдет? Не станет сора из избы выносить.

— Отец на все пойдет, — сказал Павел.

— погоди, давай по порядку, — перебил его Сухов. — Берешься показать базы?

— Нет, — зло ответил Павел. — И Наталью тебе не предам, и баз не открою. Сволочь ты. Только меня запутал.

— Тогда пытаться.

— Убивайте, чорт с вами! Лучше убитым быть, чем с вами дело иметь!

— Это все шутки, дело впереди будет, — засмеялся Сухов. — Мы тебя пока что от немца скроем, сам потом увидишь, что мы тебе добра желали. Но, между прочим, иди, не оглядывайся. Бежать задумаешь — убью!

Они немного отстали от Павла.

— Я его образую, — сказал Сухов. — Это же воск, что, я его не знаю?

— Поберечь, думаешь?

— Безусловно.

Из лесорубного барака Наталья с Алексеем на другой же день перебрались в наспех вы-

рытую землянку за широким, даже в зиму плохо замерзающим болотом. Совсем уж в медвежью глушь. А отряд — после разгрома танков — снялся в соседний район.

— Сейчас опасно перевозить вас, — сказал отец Наталье. — Пока Сухова не прикончу, к фронту нам дорога заказана. Он там, небось, день и ночь. Ну, я их отодвину назад. Дней из десять ухожу. Не скучай.

Нетерпеливо поджидала Наталья возвращения отца. Все в ней было теперь устремлено только на предстоящий путь с Алексеем. Он один мерещился ей, как счастье, как избавление от беды, как будущее, без которого бессмысленно и ненужно все ее настоящее. Отрезать у нее этот путь — и остановится, станет мертвой жизнь. Незачем будет жить и нечем.

Поутру Наталья осторожно выглядывала наружу, топила железную печь, грела кипяток с сухим шалфеем, размораживала кусок сала — завтракали. Потом, взяв топор, выходила наколоть дров. Потом снова топила печь и садилась к огню чистить картошку. День был недолог. К обеду темнело.

Укрытый тулупом, Алексей лежал на нарах, рядом с печью. Наталья присаживалась к нему и тихо пела или расспрашивала о том, что им предстоит впереди.

— А у вас, Алеша, еще не весна?

— Зима и у нас, дорогая. Только у нас зима теплая.

— Посмотреть бы мне, что за зима такая без холода? Я даже и не пойму, как это.

Или расспрашивала его о горах, об апельсинах и винограде и улыбалась, не веря, что существуют горы, и виноград, и зима без морозов. Маленькая железная печурка до боли обжигала жаром лицо Натальи — она только вяло щурилась, не отодвигаясь. Ей уж мерещилась сухой зной юга. Пусть жжет до боли!

— Валенки в пути придется оставить, — говорила она. — Куда мы там, по вашей жаре, с шубами да с валенками будем крутиться? Людям насмех!

Алексей останавливал, трезво рассекал ее мечтания.

— Где теперь фронт, не знаем, и сколько ехать нам, тоже не знаем.

И она поднимала от огня лицо и замолкала в тревоге. Ведь война, кругом война!

Засыпали рано. По ночам округ выли волки, и однажды целая стая их, голов в двадцать, всю ночь, рыча и взывая, вертелась вблизи землянки, скреблась в промерзшую дверь, принюхивалась к запаху человеческого жилья.

Ночи были длинные, утомительные.

А ему как раз не повезло. В конце третьей недели непрерывных и в общем очень удачных боев Невский был неожиданно окружен карательным отрядом капитана Каульбарса. Бой шел всю ночь. Партизаны сражались каждый за пятерых. Один Федор Чупров сразил в бою девять солдат. Буряев, израсходовавший патроны, бросался в атаку, молотя немцев прикладом по головам. Молодой партизан Васильков, из группы Губарева, с ручным пулеметом пробрался на фланг немцев и три часа держал их под таким огнем, что они закопались в снег, упустили инициативу и разжали уже сожмнувшиеся клещи. Сам Губарев получил тридцать четыре ранения, его партбилет был пробит вместе с сердцем в пяти местах. Дважды раненная Груня Чупрова перевязывала, лежа на снегу.

Бой шел вблизи богатого до войны села Любавина, славившегося своим колхозом, фермами и особой урожайности льном. Теперь это село вымирало с голоду. В нем стоял штаб Каульбарса, и злодеяния немцев были здесь особенно жестоки.

Когда, перед рассветом, Буряев разжал немецкие клещи, партизаны оторвались от противника, Невский решил идти на Любавино.

Раненный в плечо и очень ослабевший, он сказал Коротеезу:

— Народ наш до того устал, что отходить будет очень трудно. Раненых много. Так вот я как планирую: ты и Федор Чупров двумя группами обтекайте немцев и держите курс на их штаб, на Любавино. Ночь наступит — ударьте с тылу. Нам тяжело, значит, немцу в сто раз труднее. Ударите по его тылу — не выдержит.

— А ты?

— А я возьму раненых и скую немцев вон у того лесочка. Как-никак, а до темноты продержимся. Как вы начнете в Любавине, мы отойдем потихоньку.

— Что ж, другого выхода нет, — сказал Коротеев и взглянул на Чупрова.

Тот согласился.

— Войдете в село, — сказал Невский, — сейчас же организуйте розыск Сухова, Бочарова... Насчет Павла узнайте, не слышно ль о нем?.. Если убит — так убит, а жив — значит, до меня его поберегите.

Чупров вздохнул от страшной усталости.

— С Каульбарсом надо кончать, — сказал он. — Его щелкнуть — весь район вздохнет. Тогда мы хозяева в районе. Пойдем, Никита Васильевич, светает...

...Фронт прошел через Любавино еще в сентябре, но хоть рядом не грохотали орудия и

не пылали избы, мирной жизни не получалось. Война, жестокая война стояла у каждого порога.

Брал человек, скажем, почтовую марку и долго соображал: что за вещь, к чему? Письма-то ведь некуда написать. Вытаскивал из кошелька облигацию займа, вспоминал, что скоро должен быть розыгрыш. Пойти разве в сельсовет узнать? И вдруг с холодным ужасом соображал, что нет ни сельсовета, ни розыгрыша, ни почты, ни сына (он где-то далеко, в Красной Армии), нет ничего, что было содержанием всей его жизни. Съездить, что ли, к свояку? Да нет, и этого нельзя, запрещено. Радио, может, послушать? Господи, да нет же ничего, ни пушинки не осталось от прежней жизни, ни дуновенья.

Вот идет шоссе, а куда оно, спрашивается, идет? Никуда. И почты нет, и воздух молчалив, как мертвый, и все, что было живого, деятельного, притворилось безгласным, неживым.

Ни школы, ни сельмага, ни клуба. Хоть бы уж трактир был, да ведь и трактира-то нет. Некуда пойти, нечем заняться, не о чем позаботиться. Даже календарь не нужен, даже часы-ходики ни к чему, — что по ним проверять? Нечего проверять. Нету ничего. И, как мертвец, садился к пустому столу. Какой уж

тут мир, раздави ее танком, немецкую душу!

Да, поняли теперь любовинцы, — как, впрочем, и многие с ними, — что за удивительной широты жизнь вели они до войны!

Была эта жизнь широкая, кипучая, свободная, полная огня, страсти и вдохновения! Иной раз думалось: а к чему все это. а? Нужно ли? То тебе выставка, то соревнование, то спектакль в клубе!.. Глупо думалось. Нет уж, лучше любая война, чем немецкий мир. Война, война!.. И теперь уж до смерти, до победы!

Фронт однако был далековат, и любовинцы всеми средствами старались жить мирно, тихо и не обозлять немца без толку, хотя и ненавидели его.

Но вот однажды пробежали по деревенской улице ребята.

— Бой недалеко! — прокричали они. — Партизаны подошли!

— Дай им бог святой час! — сказала мать Бочарова, выходя к воротам. — Моего подлца не видели?

— Твоего не видели, а немцев много раненых и побитых. Во-он везут их.

Впрягшись в розвальни, немецкие санитары и легко раненные солдаты входили в село. На шести розвальнях лежало и сидело человек тридцать. Многие были мертвы или близки к смерти.

— Дай им бог святой час! — опять повторила старуха Бочарова, подумав о партизанах. Народ вышел к воротам изб и прильнул к окнам.

«Началось», — подумал каждый, и у всех забились сердца, точно все ожидали встретить сегодня среди партизан кого-то из самых близких.

След, оставляемый Невским, был широк, как след ледника или обвала. Выследить движение было не трудно. Сложнее было остановить его.

Прибывший на смену Вегенеру капитан фон-Каульбарс был из прибалтийских немцев, в прошлом русский помещик, и знал, с каким упорным народом имеет дело. В последний раз приказал он Бочарову и Сухову любыми средствами дознаться о планах Невского. И на рассвете они наконец принесли известие, что партизаны разбились на три группы и, очевидно, расходятся веером, и что с третьей группой, самой немногочисленной, находится раненый Невский.

Капитан фон-Каульбарс, в женском лисьем манто, переделанном в полушубок, сидел под елью с Вегенером, когда подполз растерянный Бочаров.

— Господин капитан! Сам Невский, ей-бо-

гу!.. Своими глазами видел. Отходит к леску, за речкой.

— Мне. Вегенер, везет, — сказал Каульбарс. — Садитесь в мою машину и отправляйтесь в штаб. Ваш последний день не надо путать с моим первым.

— Хорошо, — Вегенер встал, вяло попрощавшись. — Странно, что они начали сражаться даже днем.

Совсем было затихшие выстрелы снова возобновились, торопливо учащаясь.

— Вы полагаете, мне удобнее ехать именно сейчас? — Вегенер полуобернулся и, не получив ответа, быстро вышел к дороге, где стоял маленький «Мерседес». — Да, конечно, приходится ехать, — сказал он самому себе. — А ракеты я оставляю вам. Очень хорошо в темные ночи. Ракеты очень сокращают их.

Каульбарс не ответил ему. Глядя в бинокль, он поманил к себе Сухова и Бочарова.

— Ползите на тот край леса и осведомляйте меня о ходе дела через каждые десять минут. Двигайтесь так, чтобы была хорошо видна повязка на рукаве.

Оба поправили нарукавные повязки со свастикой и, пригибаясь, побежали по глубокому снегу к дальнему краю леса.

— А что мы теперь будем с Панькой делать? — на бегу спросил Бочаров Сухова.

— Пригодится, — ответил Сухов.

— Не засыпемся с ним? Скрывали, мол, что сын Невского? А?

— Не засыпемся!

— Смотри, Сухов.

— Сегодня со стариком покончим — дело яснее будет.

— Дал бы бог встать, а ляжем сами, — туманно ответил Бочаров, осторожно перелезая через поваленные деревья.

— Старик-то бешеный, — добавил он. — Гляди, как срезает под корень! — и он кивнул головой в сторону дороги, на которой у подножки «Мерседеса» стонал, ощупывая перебитые ноги, только что собиравшийся уехать капитан Вегенер.

— Старик чего-то задумал. — согласился и Сухов. — На себя удар принимает. Не в обход ли его группы пошли?

Три недели боев принесли партизанам много успехов. Неудача последней ночи не должна была стать решающей. Любавино было рядом, штаб Каульбарса — под руками, и отказаться от последней попытки разгромить его Невский не мог.

Но знал он, что обрекает себя на опасность, из которой, пожалуй, не будет выхода.

«Да выход-то, впрочем, есть. — думал он, отходя с девятью партизанами в лес за неглубокой речкой Синявкой.— Выход-то у Коротеева и Чупрова. Мне б только до темноты живу быть...»

Под огнем немцев перебралась его группа через Синявку. На льду убиты были Федорченков и с ним трое, а вскоре после того, как залегли за речкой, почувствовал второе ранение и Петр Семенович. Пуля пробила бедро, застряв в тазу, и сразу ноги Петра Семеновича отяжелели, точно заснули.

«Крышка! — подумал он с тревогой. — Теперь конец. Не во-время! Не задержим немца до ночи».

Раненые партизаны залегли на опушке леса, за речкой.

Немцы продвигались вперед очень осторожно, не торопясь, теряя час за часом,— это только и радовало Петра Семеновича.

Теперь, когда было недалеко до смерти, страха перед ней не чувствовал. Жизнь его, физическая жизнь, точно вышла из рамок тела и стала боем, который сейчас рассредоточился и зависел уже не от Невского, а от Коротеева и Чупрова, обходящих Любавино. И потому душа Невского тоже была с ними, и исход боя был единственной его личной судьбой.

Не раны и возможная смерть, а бой занимал сейчас весь его разум, все его чувства.

Часам к пяти дня небо стало резко делиться на мглистое, вечернее — в восточной половине и на легко-оранжевое, весеннее, почти рассветное — в западной. Показались и замерли бледные, почти белые звезды. Снег, еще недавно совсем без теней, покрылся синими и голубыми полосами и от них как бы всхолмился. Зыбь сине-голубых теней прошла по его белой сверкающей глади, и он ожил, зашевелился, поплыл.

Скоро должна была наступить полная темнота, а вместе с нею подойти к селу Коротеев с Чупровым.

Но вот наступила и ночь. Не рискуя приблизиться к опушке леса, занятой группой Невского, немцы вяло, впустую постреливали из автоматов, не то выжидая, когда партизаны замерзнут, не то проводя какой-то хитрый маневр.

Больно видеть, как разоряет немец русскую землю, но еще больнее знать, что не ты отмстишь за родину, что не тебе суждено добыть ей победу, что рано погибаешь ты, не свершив всего того, что заказала тебе твоя душа.

Ночь предстояла однако длинная, и Петр Семенович, если бы не два ранения, зливших

его и очень ослабивших, был бы доволен. «Дозари все успеем»,— и он задумался, в который раз стараясь себе представить, где сейчас Коротеев с Федором и удачно ли там у них. Выстрелов с их стороны не было слышно, значит, их до сих пор немцы не выследили, и все развивается верно.

Буряев окликнул его и, так как Невский не сразу ответил, потряс за плечо.

— Ты не зачоченел, Петр Семенович? — тихо спросил он.

— Нет, я ничего...

— А я гляжу, тебя окликают, а ты молчишь, думаю — не замерз ли.

— Кто окликает?

— Да от немцев. Сухов, наверно. Слушай! Опять вот кричит.

Они замолчали.

— Э-э-э-о, э-эо! Нев-с-кий! — раздался слабый теноровый голос Сухова.— Сда-вай-ся!

— Будем отвечать? — спросил Буряев.

— Нет,—одними губами ответил Невский.— Зачем себя выдавать? Пусть ищут.

И точно, покричав и не дождавшись ответа, Сухов и несколько немцев с ним стали ползти к опушке. Буряев дал короткую очередь из автомата и, перетащив Петра Семеновича шагов на пятнадцать в сторону, занял новую позицию.

На снегу завозилась, заохали, черные пятна ползущих замерли.

— Ракеты! Давайте сюда ракеты! — закричал издали Сухов.

— Эх, вот подлец-то! — сказал Буряев. — Ну, как нам теперь, Петр Семенович?

— Посмотрим, что за ракеты, — спокойно ответил Невский, чувствуя, что от спасительной ночи остались считанные секунды. — Теперь бей, Миша, только наверняка!

— Промазывать некогда, — ответил Буряев.

За речкой послышалась немецкая речь (это Каульбаро сказал, рассмеявшись: «Вегенер все-таки пригодился со своими ракетами»), и над спокойной и глубокой, ни одним светлым пятном не нарушаемой, темнотой суетно взвилась коротенькая, нервная, желто-оранжевая заря. Помедлив вверху, она нервно и вбск закатилась, а на смену ей, волнуясь, взлетела новая.

С обеих сторон затрещали автоматы. Свалил немца Буряев, свалил второго Невский. Тяжелый ствол осины, за которым лежали они, вздрогнул в нескольких местах, упала срезанная пулями еловая лапка.

Немцев было много, и, огибая светлый круг ракеты, они, тяжело дыша и сопя простуженными носами, ползли и бежали со всех сторон. Последнее, что еще помнил Петр Се-

менович, был выстрел, сделанный не то им, не то Мишей Буряевым, но кем именно — он не мог понять и не мог сам повторить выстрела.

Красный свет светящихся пуль медленной струйкой несколько минут еще стремился в сторону поваленной осины. Но когда оттуда перестали отвечать, все немцы, свистя и улюлюкая, бросились к месту, где лежали партизаны. Опять вспыхнули ракеты. И на ярком, неестественно желтом снегу обозначилась одинокая фигура в бело-красном халате. Она стояла по пояс в снегу, опершись на винтовку и будто наполовину выступая из-под земли.

— Он самый! — закричали Бочаров с Суховым и остановились. — Абсолютно точно! Невский!

— Так возьмите его и доставьте в село, — спокойно сказал Каульбарс. — Зажечь какую-нибудь избу. Всех жителей согнать к огню, — и, отирая пот с толстой, слоистой шеи, как бы уже совершенно равнодушный ко всему остальному, повернул к селу.

Невский стоял подобно серебряной статуе. Легкий ветер сухо шелестел в замерзших складках его маскировочного, утром еще белого, а сейчас бурого от крови халата.

Кровь, заливавшая его лицо час или два на-

зад, теперь жилками и пятнами свернулась на щеках и бороде. И борода и халат покрылись красным ледяным стеклярусом. Иней легким пушком выступил на ресницах и бровях. Но он все-таки еще не был мертв. Он как бы только забылся на мгновение. Перед его глазами предстала такая русская, русская красота. Видел он просторный летний день в заильменьских лесах, неширокую реку и золотисто зеленеющий луг за нею, и слышал чей-то вольный голос, поющий неторопливую песню.

Он не видел, кто поет ее. И казалось, что, забывшись в безлюдье, сам воздух вздохнул звонкою думой о родине... «Все вернется, и сызнова переживем все, точно смолоду»,— думал он, а песня звенела, то удаляясь, то возникая вблизи, точно сама душа народа, несаясь над бескрайними лесами, тихо бегущими, сонными реками, над лугами, дрожащими пчелиным гулом, пела ее в избытке широты и простора.

«Все отберем обратно, всю красоту, все счастье наше. Не погибнет, что навеки неотделимо от нашей земли. Нет конца нашей песне—душе нашей, нет смерти и нам вместе с родиной».

А песня все длилась, и, приумолкнув, внимательно слушала песню природа. И он, Нев-

ский. И больше никого не было. Только они вдвоем. Сейчас, когда к нему подходили, крича, со всех сторон, освещая его неровным светом фонарей, он приоткрыл глаза.

Человек пять схватили его и поволокли.

Первая с краю изба уже загоралась. Народ, крестясь и вполголоса причитая, гурьбой сходился к свету, сгсняемый прикладами солдат. Кто не хотел итти, тем солдаты угрожали смертью.

Невского прислонили к стене избы, рядом с горящей. Медленно, словно свершая земной поклон, пал он на колени, и кровавый лоб его коснулся снега.

Ахнули и закрестились женщины.

— Тихо! Поднимите ему голову,— сказал офицер.— Кто знает, кто он таков? Ну!

На круг вышел бледный, с синими запекшимися губами Бочаров, взглянул в лицо Невского и кивнул головой.

— Ошибки нет,—Невский,— сказал он.

За ним, наступая на валенки Бочарова, выскочил Сухов.

— Точно говорю, как на святой исповеди,— Невский это! — и снял ушанку и зачем-то развязно поклонился офицеру.

— Кто еще знает старика? — спросил Каульбарс.— Кто знает, пусть выйдет и скажет.

Он все время отирал платком шею и ворчливо торопил переводчика, чтобы тот оформлял акт сельского схода о признании в пленном знаменитого Невского.

Народ упорно молчал, хотя многие знали Невского в лицо и были знакомы с ним.

Вдруг что-то зашумело позади толпы, и, расталкивая обомлевших баб, на круг выскочил полураздетый Павел. Лицо его было зелено, страшно, оно выражало мучение.

— Я знаю Невского,— сказал он.

— Ты? — Каульбарс был растерян.— А ты кто?

— Сын его!.. У них я скрывался,— сказал Павел, кивая на Бочарова и Сухова.

— Для вас, для вас, господин капитан, птичку эту приготовили,— выскочил вперед Сухов.— Как же! Сын, ей-богу, сын!

— Так-так-так. Ну, вот скажи. Вот погляди... Это отец?— спросил Каульбарс.

— Мне и глядеть нечего,— бесшабашно, будто во хмелю, сказал Павел.— Не мой это отец, нет.

Народ зашумел, придвинулся ближе.

— Ушел, братцы, Невский!— кивнул Павел.

— О, колоссальный дрянь!— захрипел офицер.— Эй, Бочаров, Сухов! Чей это сын? Где был? Ну, быстро!

Теперь, когда все в жизни стало необычайно ясно и просто, ни следа не осталось от обычной робости Павла. Какое-то страстное вдохновение, какое-то иступленное бесстрашие овладели сейчас им, и он не в силах был молча ожидать смерти, но сам рвался к ней, упоенный собственной отвагой.

— У них я и жил, свинья дурная! — улыбаясь, ответил он офицеру.

— Не дури, Пашка! — остановил его Сухов, но Павел небрежно отмахнулся от него.

— Все мы Невского партизаны! — прокричал он, захлебываясь восторгом. — И Бочаров, и Сухов, и я — все мы Невского агенты, дурак ты немецкий! Сами погибнем, а Невского выручим. Он тебя еще, скотину, причешет!

Мысль, что он, Павел, сейчас расплатится с подлецами Суховым и Бочаровым, что он казнит их за предательство и измену, поднимала его в собственных глазах. Если б немец вдруг помиловал его, Павел растерялся бы.

Он взглянул на Сухова и резким движением головы позвал его к себе.

— Что ты, Паня! — хотел остановить его Сухов, но дюжие руки солдат уже крепко держали его за плечи.

Бочаров, опутанный ремнями, безучастно глядел на происшедшее.

— О, сукин сын! — задыхаясь, сказал Каульбарс. — О, колоссальный подлес!.. Все вы одно, это есть русские свиньи, — убить всех, убить!

Долговязый веснучатый немец в очках быстро подскочил к Бочарову и, повернув его голову так, как ему удобнее, выстрелил Бочарову в ухо. Потом повернулся к Сухову и, взглянув на своего офицера, убил и Сухова. Перешагнув через труп, он приблизился к Павлу.

Народ зашумел. Без слов прошло по толпе возбуждение, сказавшееся в откашливании, в искании какого-то общего для всех жеста, который должен был мгновенно родиться, подобно взрыву.

Но Невский медленно приоткрыл заиндевшие глаза и последним взглядом обвел окружающих. Все замерло. Ничего, кроме напряженного ожидания, не выражал его взгляд. Так смотрят — немного вверх и наискось — когда к чему-то прислушиваются, чего-то ждут. Не услышав того, что волновало его -- выстрелов коротеевской группы — он снова обвел взглядом человеческий круг, увидел Павла, заложившего правую руку за борт полушубка, и из тусклой, почти безжизненной пустоты зрачков тлянуло светящееся тепло.

— Молодец,— одним дыханием прошептал Невский.— Спасибо... Вместе умрем... Семья мы... Вместе надо...

Легкая, в полкапли, слеза заволокла его глаза, и они, потемнев, оживились и чуть заиграли.

Что-то звонкое коротко постучалось в воздух. Тупая, как у дрозда, трель автомата сейчас же возникла в другом месте. Двум трелям ответила третья, поближе. Немцы, сторожившие народ возле Невского, загалдели и стали расталкивать толпу, знаками велая всем расходиться.

Народ упрямо стоял на месте.

— Ейн, цвей, дрей!.. В окончательный раз! — прокричал Каульбарс.— Невский это?— и поднял пистолет к виску Павла.

— Я сказал — не он это.

— Что мы, Невского не знаем? — закричали из толпы.— Невский, господин офицер, вон он где,— и чья-то рука показала в сторону выстрелов, которые, нарастая, сливаясь в залпы, приближались к селу.

— Невских не перебьешь! — все с тем же веселым, озорным выражением в голосе произнес Павел и только хотел взмахнуть рукой, как выстрел долговязого немца остановил его и потянул все тело вниз. Каульбарс, окружен-

ный солдатами, побежал, расталкивая народ, к своей избе.

Павел упал к ногам отца и ошупью обнял их мягким, как бы сонным движением. Все, что должен совершить человек, умирая, сегодня свершил он. Недолог и прост был его жизненный подвиг, но ведь и жизнь Павла была не сложна, а скорее пуста. Тело Павла, вздрагивая, остывало, и рука его, незаметно держаась, точно гладила, точно ласкала отца.

Вот жил он, никому не нужный, себялюбивый, робкий парень, и — кто его знает — как сложно, путанно думал прожить, а вышло иначе: лежит он у ног отца верным сыном, выполнив все, что следует выполнить честно-му человеку перед тем, как перестать жить. Умер сам, но не дал жить и предателям. Вместе с собой забрал их в могилу, казнив по заслугам.

Бой врывался в село. Партизанские автоматы работали на задах, за избами.

Но толпа, стоящая возле Невского с сыном, все медлила расходиться. Наконец кто-то сказал:

— Чего же это мы?.. Давай кто-нибудь одеяло!.. Поднимайте!

Чей-то тулуп распростерся на снегу. Осторожно положили на него тело. Кто-то подхватил пылающую головню, кто-то другую.

— Несите в избу Бочарова, туда, где офицер жил...

— Переждать бы стрельбу!

— Взяли, чего там! Стрельба ему не в новину.

Две пылающих головни осветили путь по улице. За четверыми, несущими Невского, шли женщины.

Невского внесли в избу Бочарова, где жил Вегенер, а после него Каульбарс, и положили на кровать, покрытую сине-серым французским пледом.

Спотыкаясь в темных сенях, окруженный деревенскими мальчуганами, вбежал Накита Коротеев.

— Как он? — спросил у женщины одними губами.

— Плох. Крови потерял много, — ответили ему и расступились, чтобы пропустить к постели.

Он подошел, взглянул на лицо, лишенное красок, взял руку Невского, потом нагнулся к уху его.

— Слышашь меня, Петр Семенович?.. Наша взяла.

Невский не ответил и, казалось, даже не услышал слов этих. Но вот он сделал над собой огромное усилие, глаза широко и быстро

открылись, и он зорко и ясно поглядел на Коротеева. И что-то, слагаясь в начало улыбки, красиво легло вокруг губ.

Хотелось долго стоять и глядеть в его лицо, и обдумывать жизнь, и навек унести в своей памяти эту последнюю улыбку, это последнее торжество воли, умирающей победительницей.

Но нельзя было. Коротеев приложил руку ко лбу Невского — лоб уже был прохладен. Он крепко пожал еще податливую, но тоже уже холодеющую руку Петра Семеновича и вышел.

У ворот толпились люди.

— Кто такие? — издали спросил Коротеев.

— Прими, товарищ комиссар! За Невского мстить вступаем!

Коротеев снял ушанку, голова его была потна, переспросил:

— За Невского?.. Что ж... Только помни-те — все от вас возьму, все силы.

— Бери!.. Жизнь надо — и жизнь бери.

— Хорошо.

Он сделал несколько шагов, еще не вполне владея собою.

— Умрет, товарищи, один такой человек, как Петр Семенович Невский, и сколько сердец дрожит от желания быть таким, как он,—

и жить, как он, и геройски погибать, как он!
Не забывайте этого дня!..

В землянке долго не знали о беде, постигшей отряд. Долго ждали вестей от своих. Много ночей провела Наталья без сна, слушая, не заскрипит ли снег под окном, не раздастся ль знакомый голос.

Никто не являлся.

«Беда,— думала Наталья,— опоздаем. Не выедем в такие морозы».

И до того все здешнее опостылело ей, что решила она уходить с Алексеем, не ожидая отца.

Стоило закрыть глаза, как тотчас же появлялось солнце, горячее, красивое, веселое не по-здешнему, и с ним вся южная жизнь, которую со слов Алексея сказкою представляла себе Наталья. И Алексей в горах — сильный, веселый.

В канун Нового года Наталья начала всерьез собираться. Очень уж плох стал Алексей.

Мороз сушил его на глазах.

«Уж если и на новый год тут останемся, проку не будет»,— думала.

И решила сама сходить на деревню, к жене Чупрова, за санями и лошадыю.

Только вышла под вечер, услышала далекий осторожный скрип лыж. Притаилась. Издали узнала — Васильков! Окрикнула. Но все же автомат с плеча сняла, приготовилась.

Он тоже стал подходить с автоматом.

— С добром идешь ко мне или как?—спросила одними губами.

— С бедой, Наташа. Петр Семенович погиб.

Дрожащими пальцами легонько коснулась сосны, как бы проверяя, выдержит ли та, и прислонилась щекой к шершавой коре ствола.

— Коротеев Никита Васильевич налетел на них той же ночью. Ну, на час какой-нибудь опоздал, вот беда. Зато, брат, до единого фрицев порубал. Каульбарса ихнего колхозники убили. Которые пробовали убежать, тех Чупров перехватил,— сказал Васильков, оживляясь.— Из любавинского колхоза в тот же час встало в строй восемнадцать человек. «За Невского,— говорят,— хотим отомстить!» Ну, и пошло! Из Егорова — девять, из Ольгинского — пятнадцать.

— Говори, Васильков, говори...

— Наш народ, знаешь, какой: смотрит, смотрит, а как навалится — ног из-под него не

вытащишь. В наших деревнях, как узнали о Петре Семеновиче, все в один голос: «Соберай новый отряд!»

— А ты... ты что сказал?

— Подождать, — говорю, — надо Коротеева. Чем вас вооружать, чем кормить, кто вас знает! Ты что на меня так смотришь?

— Ничего.

...Как был обманчиво прост и счастлив тот невозвратный день, быть может, выдуманный, воображенный, когда она, простая, счастливая, впервые предстала перед Алексеем и поняла— вот ее жизнь! Не простой, не легкой вышла жизнь, но менять ее, искать другую, полегче, было нельзя сейчас.

— Когда же ехать располагаешь? — спросил Васильков.— Ты поплачь, не робей, твое дело женское. Кругом одна.

— Кругом одна,— повторила Наталья.

— Отвезу тебя с Алексеем, будь спокойна.

— Куда? — зло спросила Наталья.—Куда ж мне теперь от отца уезжать? Куда с родной земли побегу?

— Да что ж... отца не вернешь, а у тебя счастье в руках.

— Молчи. Чем жить будете, если уйду? В моих руках ведь все запасенное.

— Это точно.

— Ни одного дня нельзя терять. Иди, сзы-

вай народ на Березовый заказ. На четверг. Павстречу Никите Васильевичу посылать надо.

— Созвать не долго. Вооружить-то чем?

— Это есть.

— А питание?

— И это есть.

— Ты не торопись, подумай. Если ехать, так я отвезу. Как же это, а?.. Твердо?

— Иди за народом. Ни дня нельзя терять, ни человека.

— Твердо?.. Алексей-то как же?

— Разговоры мы будем туп с тобой разговаривать! С нами останется Алексей!— и потцовски размашисто ударила ладонью по стволу.

Снег крупной охалкой осыпал ей плечи и голову. Она вздрогнула. Провела рукой по глазам.

— Твердо! — и пошла назад к землянке.— К себе, друг, не зову, ты прости,— бросила уже на ходу.

— Да я понимаю, как же,— растерянно сказал Васильков, сняв ушанку и слабо взмахнув ею вслед Наталье. — Значит, на четверг?

— На четверг.

— К полудню собирать?

— К полудню.

Поднималась метель, и лес задымился шуршащею снежною пылью. Снежинки были ко-

лучи, и лицо больно горело от них, точно кожу прокалывали тупыми иголками. Но кровь текла не по лицу — по сердцу. Валами валила вьюга, крепчая, как волна в океанском шторму.

«Ну, что ж, подождем... Как он пел про бурю-то? — и вспомнился ей предоктябрьский вечер и Коротеев. — «Ты подуй, подуй, ветер-батюшка!..» Нет, не то... А хорошо пел... «Мети, метель, заметай тепло, выноси меня на вольную волюшку...» Ах, опять не то... Но придет же мой день! Придет! Все вспомню!..»

Проваливаясь в снег, натываясь на погребенные в сугробах заросли мелкого ельника, Наталья с трудом добралась до землянки. И обомлела. У входа стоял Алексей.

— Ты все слышал? — робко спросила она.

Не отвечая, он взял своей горячей, воспаленной рукой ее одеревеневшую на морозе руку.

— Я так тебя знаю, Наталья! — волнуясь, сказал он. — Сто человек пело бы и ты среди них — сразу узнал бы твой голос. Сто человек шло бы — твой шаг узнал бы. Знал я, что ты так поступишь.

— Ведь нельзя, Алешенька, иначе, — сказала Наталья, точно прося прощения за то, что она одна так быстро решила их общую судьбу. — Прости меня, родной, нельзя иначе... Одна из семьи осталась я.

Алексей остановил ее взглядом.

— Морозно, не остыл бы ты, — просто сказала тогда Наталья. — Входи-ка в нору, входи.

И, прежде чем войти самой, взглянула вокруг. Стремительно неслась метель, деревья, бурно шумя, тоже точно неслись за нею, а вверху, в черно-вороненом небе, все напряженнее, все краснее мерцали крупные, сильные, багровые звезды. Они были грозно страшны. И она подняла вверх руки, и к ним, к звездам родины, направила и свое — как звезда в метель — обгаренное кровью, все победавшее сердце.



Редактор А. Митрофанов

**А 50240. Подписана к печати
28/IV—42 г. Коллч. печ. л. 4,75.
Автор. л. 4.32. Коллч. печ. зн.
в листе 40 672. Цена 1 р. 30 к.**

Зак. 694. Тираж 25000.

**Тип. газ. «Правда» имени Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.**